БЕР-ЛИН, МАЙ 1945

Советский писатель
Москва 1965



ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

БЕРЛИН, МАЙ 1945

Записки военного переводчика

«Берлин, май 1945» — документальное повествование об одном из знаменательнейших событий последних дней Отечественной войны — о штурме имперской канцелярии, в подземелье которой находился Гитлер со своим штабом, и об установлении истины о конце Гитлера. В книге «Весна в шинели», изданной «Советским писателем» в 1961 году, Е. Ржевская лишь коснулась этой темы. В новой книге писательница полнее и шире рассказала об этих исторических событиях.

Сочетание лично пережитого и увиденного с тем, что было ею найдено в документах — Е. Ржевская была переводчицей в штабе одной из наших армий, — придает книге особое своеобразие, открывает читателю много нового и интересного.

Второй раздел книги составляют рассказы о войне.

Художник Игорь Куклес

БЕР-
ЛИН,
МАЙ
1945

ЗА ВАРШАВОЙ

В конце 1944 года 3-ю ударную армию, в штабе которой я была военным переводчиком, перебросили в Польшу. Впервые за войну наша армия передвигалась по железной дороге. Проехали Седлец. В раздвинутые двери теплушки я увидела освещенное оконце с елочкой на подоконнике. Рождество.

Три года мы шли по земле, где было лишь одно — война. А там, за этим промелькнувшим незанавешенным оконцем, какой-то незнакомый быт, пусть тяжкий, придавленный, скудный, но все же таки быт. Он волновал и томил мыслями о мире.

А впереди была Варшава. О ней рассказывать надо отдельно, здесь, мимоходом, не буду совсем.

Мы въезжали в Варшаву из предместья Прага, отделенного от города Вислой. С берега на разрушенный город поднимался морозный туман. У понтонной переправы часовой в конфедератке тер замерзшие уши. Рухнувшие в Вислу подорванные мосты горбатыми глыбами вставали из воды. Польские солдаты выгребали в понтонах воду.

То, что представилось нам на том берегу,

никакими словами не передать. Руины гордого города — трагизм и величие Варшавы — навсегда сохранятся в памяти.

После боев за Варшаву войска нашего фронта, развивая успешное наступление, стремительно продвигались вперед. Мы мчались мимо старых распятий, высившихся по сторонам дороги, и деревянных щитов с плакатом, изображавшим бойца, присевшего перемотать обмотки: «Дойдем до Берлина!»

В дороге нас настиг приказ о дневке в Н. (название забыла). От этого населенного пункта в памяти остались бесприютный облик его небольших продырявленных домов, жестяная тусклая вывеска булочной — «Pieczywo», раскачивающаяся на телеграфном проводе, незатворяющиеся, съехавшие с петель двери да хруст стекла и щебня под ногами.

Через шесть дней после освобождения Варшавы наши части овладели городом Бромберг (Быдгощ — по-польски) и ушли вперед, преследуя отступающего противника. На улицах было необычайно оживленно. Все польское население Быдгоща высыпало из домов. Люди обнимались, плакали, смеялись. И у каждого на груди красно-белый национальный флажок. Дети бегали взапуски и визжали что есть мочи и приходили в восторг от собственного визга. Многие из них и не знали, что голос их обладает такими замечательными возможностями, а другие, те, что постарше, позабыли об этом за пять мрачных лет гнета, страха, бесправия, когда даже разговаривать громко было не дозволено.

Стоило появиться на улице русскому, как вокруг него немедленно вырастала толпа. В потоках лю-

дей, в звоне детских голосов город казался весенним, несмотря на январский холод, на падавший снег.

Вскоре в Быдгощ стали стекаться освобожденные из фашистских лагерей военнопленные: французы, высокие сухощавые англичане в хаки. Итальянцы, недавние союзники немцев, теперь оказавшиеся тоже за проволокой, сначала держались в стороне ото всех, но и их втянуло в общий праздничный поток.

Заняв мостовые, не сторонясь машин, шли русские и польские солдаты, обнявшись с освобожденными людьми всех национальностей. Вспыхивали песни... Вот пробирается по тротуару слепой старик с двухцветным польским флажком на высокой каракулевой шапке и с желто-черной нарукавной повязкой незрячих. Он вытягивает шею, жадно ловя звуки улицы.

Вот подвыпивший польский солдат ведет под руки двух французских сержантов. А пленный американский летчик в защитного цвета робе и без шапки останавливает всех встречных и счастливо, весело смеется.

На перекресток выходил глухой, узкий переулок, праздничный поток не проникал туда. По переулку растянулась вереница людей со скарбом, нагруженным на тележки, салазки, на спины. Это были немцы-хуторяне, снявшиеся со своих мест и двигавшиеся бог весть куда. Поляк-подросток на коньках во главе небольшой ватаги мальчишек преградил им дорогу. Пожилая немка, укутанная поверх пальто в тяжелый плед, старалась что-то разъяснить ему, а он исступленно колотил палкой по узлам со скарбом и кричал: «Почему не

говоришь по-польски? Почему не умеешь говорить по-польски?» Я взяла его за плечо: «Что ты делаешь? Оставь их». Он поднял лицо — злоба и слезы в глазах. Посмотрел на меня, вернее на мой полушубок и звездочку на шапке, и отъехал в сторону. Но издали он тревожно поглядывал на нас: ему казалось недопустимым, чтобы немцы *сегодня* беспрепятственно ходили по земле *после всего, что было*.

Праздничной волной нас вынесло снова на простор улицы. Здесь людей объединяло щедрое чувство свободы, и в этот день никому ничего не жаль было друг для друга.

Мы не заметили, как вместе с людским потоком оказались у черты города. Навстречу по шоссе двигалась колонна с сине-красно-белым полотнищем впереди. Когда колонна подошла ближе, мы разглядели французских военнопленных в истрепанных шинелях и среди них женщин, укутанных в одеяла, в мешковину и просто в лохмотья. Это были еврейские женщины из концлагеря. Все десять километров от лагерей до города французы несли поклажу своих спутниц. И хотя поклажа была немудреной, но известно, что иголка и та весит, когда измученный человек долго в пути.

Кто-то из бойцов крикнул: «Да здравствует свободная Франция!» Французы бросились к нему. А старый ирландец-сержант, сняв широкополую шляпу, на которой красовался выпрошенный на память у русского солдата наш гвардейский значок, обращаясь к французам и к нам, произнес короткую горячую речь на своем языке.

Примерно на четвертый день после того, как наши войска освободили Быдгощ и погнали противника дальше на запад, а в городе осталось всего лишь несколько наших подразделений, было получено сообщение: немцы с севера готовятся к контрнаступлению на город.

Дело было к ночи, когда комендантские патрули сами привели задержанного ими «языка». Это был перемерзший солдат, в шинели до полу, с головой, замотанной дамским шарфом, как это водилось у немцев. Преодолев первый испуг, едва обогревшись, немец засуетился, стаскивая с себя шинель и шарф. Под шинелью оказалось пальто с кротовой горжеткой, под пальто — узкое платье, лихо задрапированное на бедре, под шарфом — развившиеся соломенные волосы.

Словом, это была женщина, а не солдат — Марта Катценмайер, из немецкого публичного дома на Флюндерштрассе, 15. Она бежала вместе с ночевавшим у нее солдатом. Тот вскоре сдался в плен, а она, хватив холода и одинокого кочевья, повернула назад. Навстречу ей шли машины с красноармейцами, и кто-то из сидевших в кузове сжалился над бабенкой, трусившей в тощем пальто, и сбросил ей трофейную шинель.

Вот вкратце ее история. Она родилась на исходе первой мировой войны. Рано лишилась матери, а отец, военный инвалид и пьяница, женившись вторично, отдал дочку в сиротский приют. При выходе из приюта Марта Катценмайер, согласно новым нацистским законам, была подвергнута экзамену. Ей следовало ответить на вопросы: когда родился Гитлер, когда родились его родители, какая разница между столом и стулом, когда была

открыта Америка и т. д. В общем, очень много вопросов, и девушка сбилась, перепутала что-то. Была назначена переэкзаменовка. И снова она провалилась. Эрбгезундхайтсамт[1] счел ее неполноценной, и, по закону Гитлера, ее обесплодили, чтобы не было от нее порчи для расы. По этому же закону ей воспрещалось выходить замуж. Только мужчина старше сорока пяти лет мог получить разрешение жениться на ней, да еще такой же, как она, обеспложенный. Позор и убожество вышвырнули ее из жизни и привели в публичный дом.

Мы таращили глаза. Пожалуй, мы даже не читали такого. Она оживлялась от расспросов, от внимания к ней, от того, что в комнате было тепло, ловким движением взбивала волосы. «Фройляйн лейтенант, поверьте, как тяжело, когда нельзя выйти замуж! И потом я хотела бы иметь молодого мужа». Ругала жизнь в Бреслау, где их дом посещался строительными рабочими, скупыми и грязными. Другое дело здесь, в Бромберге, на бойкой дороге с Восточного фронта в Фатерлянд. «Если солдат имеет Урлаубсшайн[2] и хочет спать всю ночь, он платит сто марок. Ах, солдаты с фронта всегда имели много денег». Здесь ей удавалось откладывать про черный день, на старость. И, как знать, если бы дела пошли и дальше так же успешно, может быть, собрав кое-какой капитал, она завела бы собственный гешефт.

Она все не умолкала. Мы молчали, подавленные, оглушенные.

---

[1] Ведомство по определению здоровой наследственности.
[2] Отпускное удостоверение.

Марта Катценмайер ушла. Где-то совсем близко ударили тяжелые орудия.

Ночью противник пытался контратаковать. И когда наконец наши войска соприкоснулись с противником и атака его захлебнулась, хотя и следовало ждать повторения ее, все стало привычным, ясным, потому что тревогу рождала неизвестность.

Утром я зашла в комендатуру. Задержанные ночью комендантским патрулем германские подданные — монахиня Элеонора Буш с большим накрахмаленным козырьком на лбу и бывшая танцовщица из кабаре Хильда Блаурок — ожидали, пока проверят их документы. Монахиня терпеливо рассматривала голую стену. Хильда Блаурок, приподняв юбку, достала из чулка флакончик духов, смочила руки, поиграла пальцами перед глазами, понюхала ладони, облизала широкие губы, поправила на лбу модный узел из шерстяной шали, тряхнула длинными стеклянными серьгами и заходила по комнате упругой походкой.

Появилась заспанная Марта Катценмайер, зеленая солдатская шинель волочилась за ней по полу, из-под шинели выглядывали худые ноги в перекрученных чулках. Польский служащий вернул документы монахине, окликнул Марту и спросил ее адрес. Марта, боясь быть снова задержанной, попросила разрешения оставить здесь шинель и направилась к столу, держа в руках большие солдатские ботинки с железными скобами.

Танцовщица кабаре, услышав название улицы, известной публичными домами, откинулась к стене и расхохоталась хрипло, по-мужски. Монахиня, боясь улыбнуться, втягивала синюю нижнюю губу.

Сидевший на стуле боец сказал Марте Катценмайер по-русски громко, как глухой:

— Упразднили, тетенька, твою специальность, — и отдал Марте ее свидетельство.

В опустевшую проходную вбежала худенькая женщина, тоже немка, беженка. Она разыскивала ребенка, пятилетнего мальчика, которого потеряла вчера на станции.

Пока польский служащий звонил в районные комендатуры, она сидела на скамье, стиснув руки.

Казалось, те, что были сейчас здесь до нее, — тени, а это ворвалась сама жизнь, с горем, с отчаянием, с бедствиями войны.

Телефонные переговоры не дали ничего положительного. Женщина поднялась, будто ничего другого и не ждала, — она была тоненькой и очень молодой, совсем девочка, — медлила уходить. Видно было по ней, страшно ей шагнуть за порог и опять остаться одной и бежать бог знает куда со своим отчаянием.

— О господи, как холодно! — вырвалось у нее.

В первые часы после взятия Быдгоща, когда стихавшая вьюга еще мела по улицам, загроможденным транспортом, а на перекрестке горожане весело растаскивали немецкий кондитерский магазин, приполз слух: где-то за два квартала отсюда какая-то немка-старуха пыталась поджечь дом, и теперь ее труп коченеет на пороге; девчонки смеялись над польским солдатом — он старался проехать посреди площади на дамском велосипеде и свалился в снег, а пересекавший улицу мимо нашей застрявшей в пробке машины другой польский

солдат достал из кармана коробочку шоколада и протянул мне: «На вот, не скучай!» В эти первые часы я видела, как из огромного здания тюрьмы выходили на свободу заключенные. Среди них была невысокая, хрупкая женщина с некрасивым, но миловидным блеклым лицом. Мы разговорились. Имя ее Марианна Кунявская. Полька. Служила на той же Флюндерштрассе, в другом заведении, пониже рангом, посещавшемся поляками и иностранцами, согнанными сюда на строительство оборонительного вала. Среди посетителей был коренастый, темноволосый, сумрачный человек в очках и с черной ниткой усов над губой — бельгиец, учитель. Он влюбился в Марианну и пожелал, чтобы она немедленно покинула заведение и, как только это окажется возможным, стала его женой. Но, по германскому закону о тотальной мобилизации, каждый обязан был оставаться на своем посту до конца войны, и Марианне Кунявской было отказано в увольнении. Тогда бельгиец Альфред Райланд, голодая и тратя взятые с собой из дому сбережения, каждый день выкупал ее. Так это длилось некоторое время, пока немцы, в связи с приближением в Быдгощу фронта, стали освобождать город от иностранных рабочих колонн.

Когда угоняли колонну бельгийцев, Марианна бежала за ними. Немцы-конвоиры гнали ее прочь, швыряли в нее камнями, сквернословили и грозили автоматами. Она отставала ненадолго и опять нагоняла колонну, зная, что обречена.

Ее схватили, препроводили назад и бросили в тюрьму за «личную» связь с иностранцем.

На другой день после освобождения Марианна разыскала меня. Я едва узнала ее. Она была разо-

дета стараниями доброй знакомой — лиловая велюровая шляпа с приспущенными на лицо полями, прилегающее в талии пальто с маленькой горжеткой. На мой солдатский глаз, она казалась невероятно изысканной. Она отправилась к тюрьме. Часами прогуливалась у опустевшего бурого здания, во дворе которого в полном форменном облачении сидели бывшие польские тюремные надзиратели, потерпевшие при немцах, кичась своим патриотизмом, — ведь даже эту тюремную форму польского государства было запрещено хранить, — и смиренно готовые принять на себя прежний труд.

Марианна дежурила у тюрьмы, веря, что, если Альфред жив, он придет сюда искать ее. И он пришел. Бежал, отстав от колонны, и вернулся в город.

Марианна познакомила меня с ним. Это был молчаливый, молодой, широкоплечий, мужественный человек, отмеченный печатью сумрачного одиночества.

В ожидании контрнаступления противника Быдгощ заметно суровел. Из Москвы прилетели ответственные за репатриацию лица. Все, кто вышел из бромбергских лагерей, кто находился тут в подневольных трудовых колониях, должны были собраться вместе для отправки на родину. О, как отчетливы были национальные судьбы в те дни. Русские военнопленные, брошенные за проволоку на голодную смерть, истязания. Поляки — страдальцы концлагерей. Горестные тени, меченные желтой звездой на спинах, — случайно уцелевшие узницы женского еврейского лагеря. И рядом лагеря французских, английских военнопленных с другим режимом — сюда приходили посылки с ро-

дины, здесь даже ставились самодеятельные спектакли.

Дружно и охотно расходились люди на пункты репатриации, стремясь быстрее домой. Старая английская, времен еще той мировой войны песенка, которую любили у нас в институте, выручала меня. «It's a long way to Tipperary», — говорила я, когда мне приходилось обращаться к английским солдатам, не зная никаких других английских слов. Но и этих было достаточно. Солдаты весело откликались, подхватывая песенку.

Дух освобождения вторгся в город и заразил даже взятых нами в плен солдат противника. Группа их построилась, желая также следовать на пункт репатриации. «Мы — австрийцы», — заявляли они. Мне приходилось объяснять им: «Господа, к сожалению, мы еще с вами воюем».

Обязали и Альфреда Райланда до отправки на родину не отлучаться с пункта репатриации. Город, готовясь к бою, наводил военный порядок.

Во дворе на сборном пункте иностранцев я, передавая Райланду привет от Марианны, заставала его одного возле бельгийского флажка. Где-то, неизвестно где, шагала колонна под немецким конвоем, а он, единственный бельгиец, оставался в Быдгоще. Он был разлучен с Марианной. Одинокий голос любви тонул в грохоте надвигающегося сражения.

Покидая Быдгощ, чтобы двигаться дальше, мы в последний раз ехали по его нешироким уютным улицам, между старыми домами серого камня. В белесом свете раннего зимнего утра темнели островерхие крыши костелов.

Впереди группа мужчин очищала от снега тротуары. Подъехав ближе, мы увидели: на лацканах их пальто нарисована мелом свастика. Это по решению городского магистрата после всего, что было, немцы должны выйти на уборку улиц.

Нам ли не понять ожесточения поляков. Ведь насильственная германизация Польши — это закрытие польских школ, вышвыривание из квартир, проезд только в прицепном вагоне трамвая и многое, многое другое. Это истребление нации унижением, голодом, лагерями. Как же не понять нам их чувства. Нам, прошедшим сквозь страшные невзгоды, сквозь смерть и разрушения по чудовищным следам фашистского бесчинства.

Сколько раз мы говорили себе: неужели это может остаться без возмездия, неужели они не понесут кару за все? Неужели наша ненависть не будет удовлетворена мщением?

Но эти темные, угрюмые фигуры, эти опознавательные значки, рисованные на людях мелом, — тяжесть этого впечатления помню до сих пор.

Всего день, кажется, просуществовало это городское постановление. К черту, к черту такое удовлетворение!

ПОЗНАНЬ

Шоссе на Познань. Бесснежная равнина; разутый мертвый немецкий солдат, вмерзающий в землю; павшие кони; белый листопад сброшенных нами перед наступлением листовок; солдатские каски, вороньем темнеющие на поле боя. Ведут пленных. Нарастающий артиллерийский гул. Идет на-

ше войско — вторые, третьи эшелоны. В чехлах несут знамена. Машины, конные повозки, кареты и пешеходы, пешеходы, пешеходы... Все пришло в движение, бредет по дорогам Польши. В кузове машины вздрагивает старик, сидя на стуле. На обочине дороги, едва посторонясь машин, поляк целует женщине руку. Две монахини с огромными белоснежными накрахмаленными козырьками на головах упорно шагают в ногу. Женщина в траурном крепе тянет за руку мальчика.

Только кое-где полосы снега. Холодно. По бокам дороги деревья с белыми от извести стволами.

В городе Гнезно в семье электромонтера мне показали письмо, тайно доставленное из Бреслау: «Чи идон росияне, бо мы ту умерамы?» [1]

Россия идет, очищая от фашистской оккупации польскую землю.

Сегодня, 9 февраля, наша армейская газета вышла под шапкой: «Страшись, Германия, в Берлин идет Россия».

«Суверенность над этой территорией принадлежит фюреру великогерманской империи и от его имени осуществляется генерал-губернатором».

Около года назад генерал-губернатор Франк заявил: «Если бы я пришел к фюреру и сказал ему: «Мой фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил сто пятьдесят тысяч поляков», то он бы сказал: «Прекрасно, если это было необходимо».

«Фюрер подчеркнул еще раз, что для поляков должен существовать только один господин —

---

[1] «Идут ли русские, а то мы тут умираем?» *(польск.)*

немец: два господина один возле другого не могут и не должны существовать; поэтому должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции. Это звучит жестоко, но таков жизненный закон.

Генерал-губернаторство является польским резервом, большим польским рабочим лагерем... Если же поляки поднимутся на более высокую ступень развития, то они перестанут являться рабочей силой, которая нам нужна».

«Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны германского населения, — учил Гитлер своих сообщников. — Нам придется развить технику истребления населения. Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, — грубо говоря, это моя задача».

Войска Первого Белорусского фронта, день ото дня набирая темп, взламывают оборону противника. Танки вгрызаются в густоэшелонированный оборонный массив и движутся дальше, предоставляя пехоте закреплять успех наступления. Главные ударные силы неотступно преследуют противника, и в прорыв грозной лавиной устремляются войска, расширяя фронт наступления. Противник не выдерживает навязанного ему темпа войны, оставляет города, не успевая разрушить их, кое-где даже бросает невзорванными переправы.

Но чем дальше в глубь Польши, чем ближе к германской границе, тем упорнее сопротивляется фашистская армия.

В оставляемых противником населенных пунктах все чаще громадные буквы на стенах домов — гитлеровское предупреждение полякам о затемнении: «Licht — dein Tod!» («Свет грозит тебе смертью!»)

На стенах и дверях домов, на трамваях, в служебных помещениях и квартирах расклеен плакат: черный силуэт, нависающий над маленьким человеком — «Pst!» Тсс! Молчи! Враг подслушивает!

Недалеко от Познани мы остановились в пустом доме. На ночном столике в полированной рамке мальчик в восторженном оцепенении скрестил руки на животе. Его отец, балтийский немец Пауль фон Гайденрайх, читал Новый завет и драмы Шиллера. В его письменном столе лежала копия документа, подлинник которого в октябрьскую ночь 1939 года Пауль фон Гайденрайх, ворвавшись в сопровождении немецких полицейских в этот благоустроенный особняк, предъявил его владельцу. И тот прочел, что по распоряжению немецкого бургомистра ему, польскому архитектору Болеславу Матушевскому, владельцу особняка по бывшей улице Мицкевича, 4, надлежит немедленно вместе с семьей оставить дом. Разрешается взять с собой две смены белья и демисезонное пальто. На сборы отводится 25 минут... Хайль фюрер!

Мы уже давно продвигались по той части польской земли, которую фашисты присоединили к рейху и пытались насильно онемечить.

Форсировав реки Варту, Нетце, войска Чуйкова окружили Познань. Подступы к окраинам преграждало мощное оборонительное кольцо фортов. Атаки разбивались о них. Приходилось блокировать форты и брать их штурмом.

Здесь, в Познани, 4 октября 1943 года Гиммлер заявил: «Живут ли другие народы в благоденствии, или они издыхают от голода, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны как рабы для нашей культуры, в ином смысле это меня не интересует».

Познань — один из первых польских городов, захваченных немцами. Сюда в 1939 году вслед за немецкими дивизиями осваивать «провинцию Вартегау» кинулись тысячи немецких предпринимателей, партийных чиновников. Поляки были выброшены из всех мало-мальски приличных квартир. У них не было больше ни фабрик, ни магазинов, ни школ, ни личных вещей. Их улицы были переименованы, язык — запрещен, памятники сброшены, костелы опоганены.

В крепостные форты перевозились из Бремена цехи «Фокке-Вульф». Поляки угонялись на каторжные работы в Германию. Еврейское население расстреливалось на городской окраине.

Так торжествовал тут свою победу дух национал-социализма.

За каждую улицу Познани, за каждый дом, за лестничный пролет бились испытанные в уличных боях сталинградские штурмовые отряды. Помогали пушки, но исход боя решал всякий раз штурм, переходящий порой в рукопашную схватку. Над городом пылало зарево: теряя квартал за кварталом, немцы жгли и взрывали дома в центре. Теперь в их руках оставалась только познанская цитадель — древнее сооружение, рассчитанное на длительную оборону. Она возвышается над городом, охватывает большую площадь, кажется два квадратных километра. На подступах к цитадели

земля изрыта траншеями, за ними — крепостной вал и мощная стена.

Но остальные районы города очищены от оккупантов, и познанские пекари, портные, мясники вынесли на улицы в честь Красной Армии свои цеховые знамена, которые больше пяти лет хранили, рискуя жизнью.

Школьники с трудом втиснулись в свои старые форменные курточки, и, хотя руки вылезали из рукавов, застежки не сходились, сердца их переполнялись гордостью: ведь хранение любой формы старой Польши каралось оккупантами.

Вышли на улицы любительские оркестры. Зазвучали национальные мелодии. Оркестрам горячо аплодировали за исполнение, а больше всего за то, что они сохранились: играть им было запрещено — оккупанты боялись солидарности людей, которая возникает под влиянием родной музыки, и жестоко расправлялись с нарушителями. И квартеты, квинтеты, как маленькие подпольные организации, продолжали существовать тайно.

Городской магистрат приступил к работе. Вновь открылись польские школы, учреждения, начали работать магазины. А здесь же в Познани, в цитадели, все еще оставалось десятитысячное немецкое войско — остатки познанской группировки. День-другой они пытались обстреливать город, но их орудия подавили наши артиллеристы. Говорили, что подземными ходами, ведущими из крепости, немецкие солдаты проникают на центральные улицы, убивают людей и переодеваются в гражданское платье. Крепость осадили плотнее.

Вскоре о противнике в цитадели и вовсе стали забывать; в освобожденном городе было не до него.

Армия, выделив части для штурма цитадели, ушла дальше. Войска наступали уже за границами Бранденбурга и Померании. Но нам пришлось еще на некоторое время остаться в Познани.

В сорока километрах от Познани, у нас в тылу, в местечке, лежащем в стороне от магистралей войны, находится, как мы узнали, лагерь пленных итальянских генералов. Мы выехали туда.

Немецкая охрана лагеря сбежала еще перед приближением Красной Армии, а сто шестьдесят никем не охраняемых итальянских генералов продолжали жить в лагере. Еще недавно они воевали против нас; после переворота в Италии немецкое командование созвало их в тыл на мнимое совещание и объявило военнопленными. Перед лицом новых событий они испытывали такую же растерянность, как и итальянские солдаты, освобожденные Красной Армией в Быдгоще. Кто же они для нас, узники немцев или недавние наши враги?

Мы въехали за колючую проволоку. Пустырь. Несколько бараков. Двое распиливают бревно. Мы подходим ближе. Они бросают пилить, завидя нас, и ждут. Два пожилых, усталых человека, две пары глаз хмуро и выжидающе смотрят на нас.

Мы здороваемся по-немецки. Один из них, смуглолицый, с резкими складками на лице, в ярком шерстяном шарфе на шее, кивает молча. Это генерал Марчелло Г. Другой вступает в разговор. Это зондерфюрер Вальтер Трейблут, немец-переводчик, единственное лицо из лагерной админи-

страции, оставшееся на месте. Он без шапки. У него седая голова, заостренный нос и втянутая внутрь верхняя губа.

Наш полковник обошел бараки в сопровождении Вальтера Трейблута и объявил итальянцам, — а зондерфюрер перевел, — что они свободны и, как только положение на фронте позволит, им будет оказано содействие в возвращении на родину.

Через некоторое время, когда потеплело, а запасы продовольствия в лагере опустошились и итальянские генералы отправились в путь, мне пришлось еще раз разговаривать с зондерфюрером Вальтером Трейблутом — его задержали ночью в городском сквере, где он спал на скамейке.

Распростившись с итальянскими генералами и не зная, что надлежит ему делать с собой, он отправился в Познань, подошел к дому, в котором прожил несколько лет, убедился, что дом занят польской семьей, жившей здесь прежде и выброшенной отсюда во время оккупации, и, стараясь не навлечь на себя ничей гнев, лег на скамейке в сквере, так как очень устал и был голоден.

Я спросила его, почему он не бежал вместе с администрацией и охраной лагеря. Он пожал плечами и ничего не ответил. Потом рассказал о себе.

Он родился и жил в Ревеле. Владел химической лабораторией по изготовлению предметов парфюмерии, которые продавал через отцовский аптекарский магазин. Страдал легкими и, путешествуя по Италии, познакомился с дочерью вице-секретаря местечка Домазо на озере Комо. Они были знакомы всего пять дней, и при этом итальянка не знала ни слова по-немецки, а Трейблут — едва ли

больше пяти слов по-итальянски. Вернувшись в Ревель, он принялся зубрить итальянский язык, посылал в Домазо множество почтовых открыток и, наконец, предложил руку и сердце прекрасной итальянке Нереиде Бететти. Свадьба состоялась на озере Комо, и Трейблут увез свою итальянку в Ревель в эстонское подданство.

— В немецкой литературе всегда много писалось о верности немецких женщин и о легкомыслии, коварном предательстве француженок и итальянок. Но я был очень счастлив в своем браке.

А вскоре началась «репатриация» немцев, и он очутился в Познани, где на новом плацдарме национал-социализм был представлен в классическом виде. Здесь, например, не хотели зарегистрировать его дочь, так как он назвал ее итальянским именем Фиаметта — «огонек».

Он замолчал. Серые глаза его были расширены и неподвижны. О семье он ничего не знал, к своей дальнейшей участи был безразличен. Он бесконечно устал от жизни в мире нацизма и войны.

Город Познань оставался все в более глубоком тылу наступающей армии. Уже форсировали Одер. Войска Первого Белорусского фронта с боями прошли четыреста километров за две недели. Красную Армию отделяют от Берлина пятьдесят пять километров.

23 февраля познанская цитадель капитулировала. Командующий группировкой Коннель подписал приказ о капитуляции и застрелился. Многотысячной колонной растянулось по городу пленное войско. Брели во главе с комендантом крепости ге-

нерал-майором Маттерном одичавшие, изверившиеся, голодные, несчастные толпы в зеленых шинелях.

В среду 7 марта на Рыночной площади был отслужен молебен. На площади перед алтарем — плотный строй польских солдат. Ближе к алтарю белеют платочки сестер милосердия. Со всех балконов свешиваются ковры. По переулку бегут сюда мужчины и женщины. Площадь в едином порыве сливает голоса: высоко к пасмурному небу поднимается торжественная песня славы, благодарности и веры. Женщины с младенцами на руках выходят на балконы, чтобы присоединиться к хору. Они красивы, ясны и спокойны сейчас, как их католическая мадонна.

Позже на площади перед магистратом командующий польским войском принимал парад.

Трибуна вся в зелени. Принесли сбереженное знамя городской управы. По обе стороны знамени шли женщины-ординарцы, опоясанные парчовыми красно-белыми полосами.

Пехота в касках, на русском трехгранном штыке — двухцветный флажок. Взвод противотанковых ружей.

Через толпу на тротуаре протиснулась женщина, держа высоко над головой букет цветов. Она выбежала на мостовую и отдала цветы командиру.

Взвод автоматчиков — тоже с флажками, за спинами меховые ранцы. Санитар с двумя санитарками замыкают строй.

Еще и еще повзводно идут автоматчики, по шесть в ряд. Впереди — командиры с букетами цветов, позади — санитар с санитарками.

Снова взвод автоматчиков, первый ряд — девушки. Показались тачанки. Теперь идет конница — в гривы вплетены двухцветные ленты. Гражданские организации со своими знаменами подходят к трибуне. Промаршировавший с воинской частью оркестр тоже остается у трибуны. Полощутся знамена: красное и бело-красное.

— Нех жие Армия Червона!

— Нех жие! — раздавалось с трибуны.

Ребятишки и взрослые карабкались вверх по телеграфным столбам, на деревья, на ограду костела.

— Нех жие богатерски Познань.

Мелькали над толпой шапки, летели к солдатам букеты оранжерейных цветов.

Командующий встречал марширующие части на мостовой перед трибуной взволнованный, с заткнутым за борт шинели букетом. С ним рядом стоял высокий, сухощавый начальник его штаба. Колыхались знамена. Темно-красное знамя с головой коровы и пересеченными секирами держал рыжеусый мужчина с платком на шее — знаменосец цеха мясников. Знамя ППР — старик в синих очках. Тут же, у трибуны, молодой человек в поношенном сером пальто подносил к губам микрофон и, снимая шляпу при звуках гимна, вел репортаж.

Последними мимо трибуны прошли, грохоча, шесть танков. И только замер их грохот, над толпой пронесся изумленный, радостный возглас, подхваченный всеми: «Журавли! Журавли прилетели!»

Сняв шапки, закинув головы, люди уставились

вверх, где в просветлевшем небе плыли над городом возвращавшиеся с юга журавли. Весна!

Когда у костела рассеялась толпа, снова стали видны братские могилы за оградой.

«Здесь погребен майор Судиловский Иван Фомич, рождения 1923 г., кавалер пяти орденов, павший смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при штурме гор. Познань 15.02.45 г. Вечная слава герою-штурмовику!»

Два с лишним месяца пробыли мы в Познани, и за это время город менялся на глазах. Прежде всего он становился весенним. Это было как будто обычным делом природы, но многие наверняка запомнили дружную весну сорок пятого года на Западе, с ее мягкими ветрами, приносящими запахи полей, впервые поднятых свободными польскими крестьянами, с нежной зеленью, с надеждами на мир, на труд.

Город восстанавливался. Он жил еще сурово, но по-весеннему оживленно. Уже висели у домов штукатуры и маляры в своих люльках. Трубочисты в черных цилиндрах и с полной выкладкой разъезжали на велосипедах. Спешили к звонку познанские школьники. Любой из них с прыгающим ранцем за спиной, повстречавшись, непременно скажет: «День добрый, пани лейтенант!»

Я жила в трехэтажном доме, в квартире польской семьи Бужинских.

Глава семьи Стефан Бужинский рано поутру, надев узкие брюки и залатанную куртку-спецовку, уходил на работу в депо. Его жена, пани Виктория, портниха по профессии, приобрела в последнее время заказчиц — наших девушек-регулиров-

щиц, проживающих в первом этаже того же дома. Им, стоявшим в эту весну на виду у всей Европы, требовалось тщательно, по фигуре, приладить свои гимнастерки. С утра до вечера, к радости приветливой и общительной пани Виктории, девушки тормошили ее.

Домашним хозяйством в семье занималась в основном дочь Алька. Красивая, медлительная, она небрежно передвигала грубые, ветхие стулья и вдруг замирала в глубоком раздумье с тряпкой в руках. Когда случалось при этом заглянуть в ее чудесные синие глаза, поражал контраст флегматичного внешнего облика с тем скрытым темпераментом, который выдавали глаза. Казалось, в душе ее дремлют горячие силы, выжидая своего часа. Чему отдаст их Алька?

Сын пани Виктории, круглолицый подросток с вьющейся шевелюрой, любимец матери, ежедневно, уединясь за перегородкой, играл на скрипке. Его находили музыкально одаренным, и до войны учительница консерватории давала мальчику уроки, а за это пани Бужинская стирала белье учительницы и убирала ее квартиру. В годы оккупации мальчик мог играть на скрипке лишь тайком от немецкой полиции.

Как-то пани Бужинская поделилась со мной: она надеется, что теперь ее сын будет принят в музыкальное училище.

Отойдя немного от манекена, близоруко щуря усталые светлые глаза, когда-то, наверно, такие же синие, как у Альки, она внимательно изучала вытачки, намеченные на талии гимнастерки и на плече.

Наша ударная армия генерал-полковника Кузнецова первая ворвалась в Берлин и завязала уличные бои в северо-восточной части города. Мы с нетерпением ждали разрешения выехать из Познани. Наконец было получено распоряжение — всем нам вернуться в свои части.

С этим известием я выскочила на улицу, обогнула наш дом и свернула в ворота. Был поздний вечер. Во дворе чернели силуэты машин. Под одной то вспыхивал, то гаснул яркий свет фонаря.

Я окликнула Сергея.

Из-под машины высунулась рука с фонарем, потом выполз он сам, шофер Сергей, в голубом гестаповском мундире, служившем ему спецовкой.

Я сообщила ему, что мы выезжаем в Берлин и что велено к шести утра подготовить машины.

Сергей загасил фонарь, мы молча стояли в темноте.

Кто ж в те дни не рвался в Берлин! Конечно, и Сергей тоже. Но мы больше двух месяцев простояли в Познани, а это на войне — целая жизнь, и Сергей, закружившийся в романе с познанской девушкой, успел тайно обвенчаться с нею в костеле, и на его добродушно-сосредоточенном лице с тех пор проступило вдруг что-то шальное, непутевое.

Он обтер руки о гестаповский мундир, чиркнул зажигалкой — побледневшее, скуластое лицо, насупленные брови, — сказал, закуривая:

— А! Вшистко едно — война! — Так говорили в те дни в Познани.

На рассвете мы собирались в путь. Сергей бросил прощальный взгляд на старую «эмку», выкрашенную в дрянной, грязный маскировочный цвет,

с неизменным красным кантом вдоль кузова и на ободах колес, который он постоянно подновлял. В этой пробитой пулями, измятой машине он проездил четыре года войны.

Сергей вывел на мостовую свое новое детище — трофейный мощный форд-восьмерку. Он вытащил его из кювета под Познанью и с вдохновением отремонтировал. Свежая черная краска улеглась буграми с серыми просветами, а вдоль кузова и по ободам колес алела та же фатоватая полоска — знай наших!

Следом на мостовую вышел Ваня-таксомоторщик из Риги, угнанный немцами на работу в Познань. Он ежился в коротенькой, истлевшей замшевой курточке щеголеватого покроя и одобрительно оглядывал машину.

Отстегнув ремень, Сергей снял флягу со спиртом и отдал ему.

Сергей посмотрел на одну, потом на другую сторону улицы. На тротуаре маячила одинокая фигурка. Это была девчонка в короткой клетчатой юбке, большеногая, повязанная платочком. Она напряженно следила за нашими приготовлениями в дорогу.

Машины уже трогались с места. Сергей негромко сказал:

— Иди домой. Кому говорят. Идзь же до дому...

Она повернулась и медленно пошла, то и дело оборачиваясь. Сергей постоял оцепенело, расправил складки гимнастерки под ремнем и рванул на себя дверцу машины.

Зажав под мышкой флягу, Ваня-таксомоторщик пригладил другой рукой редкие желтые во-

лосы и помахал нам на прощание. Форд свирепо дернулся, но тут же выровнял ход, пошел плавно. Я сидела за спиной у Сергея. По сторонам улицы клубилась белая пена — цвели яблони. Город просыпался. Регулировщица у городской заставы подала знак, и шлагбаум поплыл вверх. Вышел из дому мальчишка с ранцем на спине, стянул приветственно кепчонку: «День добрый!»

Машина вышла на Берлинское шоссе. Сергей опустил стекло и снял фуражку.

ДОРОГА НА БЕРЛИН

За Бирнбаумом контрольно-пропускной пункт — КПП. Большая арка — «Здесь была граница Германии».

Все, кто проезжал в эти дни по Берлинскому шоссе, читали, кроме этой, еще одну надпись, выведенную кем-то из солдат дегтем на ближайшем от арки полуразрушенном доме, — огромные корявые буквы: «Вот она, проклятая Германия!»

Четыре года шел солдат до этого места.

Поля, поля. Необработанные крестьянские наделы. Перелески, и опять поля, и мельницы на горизонте. Возле уцелевших домов на шестах, заборах, деревьях вывешены простыни, наволочки, полотенца — белые флаги капитуляции.

Маленький полуразрушенный город Шверин. Война переместилась отсюда, а здесь приглушенно, едва уловимо пульсирует жизнь. На перекрестке, напротив серого особняка «дахдекермайстера» («кровельщика») на большом плакате парень в дубленом полушубке кричит: «Огонь в логово зверя!»

Город Ландсберг. В хлюпнувшем на тротуар бесколесом «опеле» лазают мальчишки с белыми повязками на рукаве. Наверное, играют в войну. Из окон свешиваются белые простыни. Здесь много жителей, они навьючены тюками, толкают груженые детские коляски, и все до одного — и взрослые и дети — с белой повязкой на левом рукаве. Я не представляла себе, что так бывает — вся страна надевает белые повязки капитуляции, и не помню, чтобы читала о таком. На уцелевшей улице Театерштрассе разукрашенная арка: «Добро пожаловать!» — это сборный пункт советских граждан.

У шоссе на окраине города пожилой мужчина вскапывал землю. Мы остановились и вошли в дом. Хозяйка, уже привыкшая, должно быть, к таким, как мы, посетителям, предложила нам согреть кофе.

В этом домике, примостившемся у дороги войны, была уютнейшая, сверкающая чистотой кухня. На полках — недрогнувший строй пивных кружек. Топорщились фаянсовые юбки лукавой тетушки, присевшей на буфете. Эта веселая безделушка подарена хозяйке на свадьбу, тридцать два года назад. Пробушевали две страшные войны, но цела фаянсовая тетушка с надписью на фартуке: «Kaffee und Bier — das lob ich mir» («Кофе и пиво — вот что любо мне»).

Мы вышли из дому. Муж хозяйки сажал в разрыхленную землю семена цветов. Он из года в год выращивает цветы на продажу. Мимо шли бронетранспортеры. Лязгали гусеницы... Мальчишки в нарукавных белых тряпицах возили друг друга в тачке. Паренек в солдатском свитере болотного цвета насаживал лопату на черенок.

В небе висел немецкий разведчик — «рама». А на развилке ВАД уже соорудил павильон для тех, кто передвигается по Германии на попутных машинах, и строго известил: «За езду по левой стороне водитель лишается прав». Смешно и мило. От этого предупреждения веяло непривычным бытом, резонными установлениями другого мира — мира, где нет войны.

Мимо кавалерийского полка, размещенного в прилегающей к шоссе деревне, мимо танковой бригады — резерва командующего, обгоняя тяжело груженные боеприпасами машины, мы въехали в Кюстрин. Город на Одере, безлюдный, разваленный. «Ключ Берлина» — называли его немцы.

С трудом пробравшись среди загромождавших улицы камней, сгоревшей арматуры, раскрошенной черепицы в поисках выезда из города, наша машина влетела на площадь. Большая площадь была теперь кладбищем окружавших ее прежде зданий. Мрачными глыбами камня надвигались они отовсюду. Ветер шевелил сорванное кровельное железо, валяющееся по земле. Стонали повисшие балки. Из проломов стен сыпалась каменная пыль. А посреди площади — чудом уцелевший памятник с бронзовой птицей вверху.

Боже мой, до чего же одиноко тут. И эта птица, нелепая, глупая, заносчивая, одна-одинешенька на страшном каменном пустыре.

Опять на шоссе. И опять поля и перелески, и на горизонте встают мельницы. Мечутся по полю некормленые, одичавшие свиньи.

Спустились сумерки, и движение на шоссе заметно усилилось. Двигались танки-«амфибии», пушки на механической тяге, конные обозы. Пехота

на машинах и в пешем строю. На стволах орудий, на башнях танков, на повозках мелькают надписи: «Даешь Берлин!»

Совсем стемнело, а движение все усиливалось. Ведь ночи короткие, надо успеть передвинуться. Ехали медленно, не зажигая фар, сбиваясь в пробку. Постреливали зенитки. С проселков подтягивались к шоссе пушки, танки, пехота. Машины двигались по нескольку в ряд, съезжали и шли целиной по сторонам дороги. И все лязгало, громыхало, истошно сигналило, нахлестывало лошадей, норовя обогнать идущих впереди.

НОЧЬ В БЕРЛИНЕ

Центр Берлина горел, и огромные языки огня полыхали в небе. Освещенные ими многоэтажные дома, казалось, стоят совсем неподалеку, хотя на самом деле до них было несколько километров. Широкие снопы прожекторов полосовали небо. Глухой рокот нестихающей артиллерии докатывался сюда. Здесь, в пригороде, еще стояли ощетинившиеся противотанковые надолбы врага, а наши танки уже рвались к центру.

Этой же ночью в подземелье имперской канцелярии венчался Гитлер. Когда впоследствии я узнала об этом, мне вспомнилось, как рушились стены выгоревших зданий, запах пожарищ, угрюмые надолбы, не могущие уже ни от чего защитить, и в темноте неумолимый гул танков, рвущихся к центру — к рейхстагу, к имперской канцелярии.

Я сидела на улице предместья на валявшейся пустой канистре у заколоченной витрины, под зо-

лотыми буквами вывески кондитерской «Franz Schulz Feinbäckerei», ожидая, пока выяснится в штабе, где следует нам располагаться.

Передний край проходил в эту ночь по центру Берлина. То и дело сверкали артиллерийские вспышки. Небо было усеяно звездами.

Я вспомнила переправы под Смоленском в сорок третьем году, когда голодные лошади отказывались тянуть артиллерию и вконец измученные люди вынуждены были сами толкать орудия под ураганным обстрелом врага. И кинооператора Ивана Ивановича Сокольникова, с риском для жизни «крутившего» тут же хронику. Кроме материала в очередной номер киножурнала, часть отпущенной ему пленки Сокольников должен был израсходовать для исторической фильмотеки. И он снимал переправу, бойцов, надрывающихся под тяжестью орудий...

А когда половодье отрезало передовые части от тылов и в продолжавших продвигаться частях иссяк запас продовольствия, Сокольникову приходилось снимать в историческую фильмотеку сброшенные с самолета мешки с сухарями, которые, ударяясь о землю, столбом пыли взвивались вверх на глазах у голодных бойцов, и мешки, которые благополучно приземлились. Их грузили в волокуши, и упряжки собак, обычно вывозившие в этих лодочках раненых с поля боя, тянули на передовую бесценный груз. В ушах звенело от собачьих стенаний, но что было делать — никакой другой транспорт и вовсе не прошел бы по топи.

В памяти застрял «кадр», который не вошел ни в киножурнал, ни в историческую фильмотеку: той же весной, только ранее, когда по талому

снегу еще проходил санный, но ох до чего же тяжелый путь, у такой вот дороги сидел на розвальнях боец-ездовой. Лошадь его упала. Ездовой выпряг ее, не глядя на лошадь, отвернул оглоблю, повесил на нее котелок со снегом, развел небольшой костер. Строжайший приказ — беречь лошадей до последней возможности. Но на этот раз беднягу не поднять.

Закипает желтая вода в котелке, а лошадь все еще грустно, обреченно моргает глазом. Ездовой хмуро ждет.

Дошел ли этот человек до Берлина? Привести бы сюда сейчас всех, кто принял солдатскую муку, бедовал от голода, холода, ранений, воскресить тех, кто отдал жизнь, — пусть бы поглядели они, какой грозной силой пришла их армия в логово врага.

КОЛЬЦО ЗАМКНУЛОСЬ

Уже три дня Берлин полностью окружен. В тяжелых боях, взламывая оборону одного района города за другим, войска 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, 5-й ударной армии генерал-полковника Берзарина и 8-й гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова продвигались к центру: к Тиргартену, к Унтер-ден-Линден, к правительственному кварталу. Советским комендантом Берлина генерал-полковником Берзариным уже издан приказ о роспуске национал-социалистской партии и о запрещении ее деятельности. По его распоряжению жители занятых Красной Армией улиц получили новые продовольственные карточки.

Под горящими, рассыпающимися домами, в подвалах — жители Берлина. Плохо с водой, иссякают скудные запасы продовольствия.

На поверхности — несмолкаемая стрельба, взрывы снарядов, летящие в воздухе обломки зданий, гарь, дым пожарищ, удушье. Положение населения отчаянное.

В этих обстоятельствах, когда исход был так очевиден, каждый час продления этой бессмысленной борьбы — преступление.

Каковы же планы немецкой стороны в эти дни?

Лишь позже, когда уже все было кончено, можно было доискаться ответа на этот вопрос.

Взятый в плен 2 мая в пивоварне Шульдхайс адъютант Гитлера штурмбанфюрер СС Гюнше письменно ответил на него таким образом.

22 апреля, когда артиллерийские снаряды рвались в центре Берлина, в 16.30 состоялось совещание верховного командования во главе с Гитлером.

«Фюрер имел в виду осуществить наступление 9-й армии в северо-западном направлении и наступление армейской группы генерала войск СС Штейнера в южном направлении, он рассчитывал отбросить прорывавшиеся, по его мнению, слабые русские силы, достигнуть нашими главными силами Берлина и этим создать новый фронт. Тогда фронт проходил бы примерно по следующей линии: Штеттин, вверх по течению Одера до Франкфурта-на-Одере, далее в западном направлении через Фюрстенвальде, Цоссен, Троенбрицен до Эльбы.

Предпосылками к этому должно быть следующее:

1. Непременное удержание фронта на нижнем течении Одера.

2. Американцы остаются на западном берегу Эльбы.

3. Удержание левого фланга 9-й армии, стоящей на Одере.

После того как начальник генерального штаба сухопутных войск генерал артиллерии Кребс доложил о прорыве больших русских сил на фронте южнее Штеттина, для фюрера должно было быть ясным, что теперь невозможно создать вышеназванный фронт, и он высказал мнение о том, что в связи с этим Мекленбург будет также через несколько дней обложен русскими силами. Однако, несмотря на это, было приказано 9-й, 12-й армиям и армейской группе Штейнера перейти в наступление на Берлин».

Гюнше писал это на шестой день после капитуляции, еще по свежим следам событий, с отчетливой памятью:

«26.4.45 г. перестали действовать последние линии телефонной связи, соединяющие город с внешним миром. Связь поддерживалась только при помощи радио, однако в результате беспрерывного обстрела антенны были повреждены, точнее полностью вышли из строя. Донесения о продвижении или о ходе наступления вышеназванных трех армий поступали в ограниченном количестве, чаще всего они доставлялись в Берлин кружным путем. 28.4.45 г. генерал-фельдмаршал Кейтель донес следующее:

1. Наступление 9-й и 12-й армий вследствие сильного контрнаступления русских сил захлебнулось, дальнейшее проведение наступления более невозможно.

2. Армейская группа генерала войск СС Штейнера до сих пор не прибыла.

После этого всем стало ясно, что этим судьба Берлина была решена»[1].

Но замкнутым в кольце окружения немецким войскам продолжали подбрасывать тюки с геббельсовскими «листками», обманывающими, подстрекающими, льстящими и угрожающими.

Вот один из последних, датированный 27 апреля, геббельсовский «Берлинский фронтовой листок», прозванный в немецких частях «бронированным медведем» (медведь — герб Берлина).

«Браво вам, берлинцы!

Берлин останется немецким! Фюрер заявил это миру, и вы, берлинцы, заботитесь о том, чтобы его слово оставалось истиной. Браво, берлинцы! Ваше поведение образцово! Дальше так же мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда разобьются о вас штурмовые волны большевиков... Вы выстоите, берлинцы, подмога движется!»

Этот «листок» попал к нам 29 апреля уже неподалеку от Потсдамской площади.

29 АПРЕЛЯ

Наутро мы получили указание отправиться в район, откуда войска нашей армии — 3-й ударной — наступают в направлении Потсдамской площади.

Ранним утром мы миновали на вездеходе одну, потом другую баррикады в том месте, где они были

---

[1] Все приведенные в этих записках документы (показания, акты, дневники, переписка и др.) публикуются впервые.

разворочены, подмяты танками, пробираясь среди искромсанных рельсов, бревен, орудий. Переехали через противотанковый ров, засыпанный обломками зданий, пустыми бочками. Дома пошли гуще. Но большей частью это были не дома, а памятники боев двухдневной давности, то укороченные на несколько этажей, то с одной лишь закопченной стеной, словно забывшей рухнуть. Кое-где танки проложили себе путь через завалы, и по гусеничному следу на эту танковую дорогу сворачивали машины, которых становилось все больше и больше.

Движением на улицах Берлина командовали смоленские, калининские, рязанские девчата в складно сидящих гимнастерках, перешитых, должно быть, у пани Бужинской в Познани.

Навстречу продвигались группки французов со своими тележками с поклажей и с флагом Франции у борта, маневрируя среди нагромождений кирпичного крошева, железного лома, щебня. Не останавливаясь, мы помахали друг другу руками.

Чем ближе к центру, тем плотнее воздух. Кто был в те дни в Берлине, помнит этот едкий и мглистый от гари и каменной пыли воздух, хруст песка на зубах.

Мы пробирались за стенами разрушенных домов. Пожары никто не тушил, стены дымились, и декоративные ползучие деревья обхватывали их обгорелыми лапами.

Ныряя из подвала в подвал, мы встречались с немецкими семьями. Нас спрашивали об одном и том же: «Скоро ли конец этому кошмару?»

Гитлер заявил: «Если война будет проиграна, немецкая нация должна исчезнуть». Но люди не

хотели исчезать. Из оконных проемов, с карнизов свешивались белые простыни, наволочки. За них, по приказу Гиммлера, все мужчины, проживающие в доме, подлежали расстрелу.

Ориентироваться по плану города стало очень трудно. Русские указатели уже кончились, немецкие же большей частью исчезли вместе со стенами, и за разъяснением мы обращались к встречавшимся на улицах жителям, перетаскивавшим куда-то свои пожитки.

Связисты мелькали в проломах стен — тянули провод. Везли на повозке сено, и усатый гвардеец-ездовой жевал сухую травинку. И такими же травинками слегка посыпало берлинский покореженный асфальт. Саперам, великим труженикам, по-прежнему невозможно было ошибиться дважды. Прошла группа бойцов с автоматами, среди них один с забинтованной головой. Только бы не отстать, не выйти из строя.

У переходящей улицу пожилой женщины с непокрытой головой рука была обмотана заметной издалека белой повязкой. Женщина вела за руки малолетних детей — мальчика и девочку. У них обоих, аккуратно причесанных, были пришиты повыше локтя белые повязки. Проходя мимо нас, женщина громко заговорила, не заботясь, понимают ли ее:

— Это сироты. Наш дом разбомбили. Я перевожу их на другое место. Это сироты... Наш дом разбомбили...

Из подворотни вышел мужчина в черной шляпе. Увидев нас, остановился, протянул руку с маленьким свертком в пергаментной бумаге. Развернул — пожелтевшая коробочка. Открыл крышку.

— «Л'Ориган Коти», фрейлейн офицер. Прошу пачку табаку в обмен.

Постоял, спрятал сверток в карман длиннополого пальто и побрел.

Дальше улицы были совсем пустынны. Запомнилось: тумба, оклеенная афишами, шифоновые занавески, как белые руки, протянутые из проема окна, привалившийся к дому автобус с рекламой на крыше — огромной туфлей из папье-маше и на стенах категорические заверения Геббельса в том, что русские не войдут в Берлин.

Теперь все чаще мертвые кварталы сплошных руин.

По мере нашего продвижения к центру гул стрельбы настолько усилился, что мы с трудом стали слышать друг друга. Дышалось тяжело, на каждом шагу здесь подстерегала пуля.

Нас вел присланный за нами боец Курков. Вместе с ним когда-то под Ржевом мы благополучно выскочили из немецкого мешка, горловина которого затягивалась со страшной стремительностью.

О себе Курков обычно говорил: «Я на золоте вырос». Он любил рассказывать про свои дела на уральском прииске. Рассказывал, бахвалясь, как привезли на прииск новую машину и не то что-то испортилось, не то просто, чтобы запустить ее, понадобилось влезть на самую верхушку машины. Кто вызовется? Ясно, Курков. «Лезу — высоко, глядеть вниз противно. А внизу жинка стоит, в лице кровинки нет».

О жене Курков рассказывал, тоже бахвалясь, что чуть ли не пятнадцать лет ей было, когда замуж взял. Изображал все так, словно он гроза у себя в доме, а сам писал жене нежнейшие письма

и покупал в военторге какие-то ленточки и открытки. «Жена, — рассказывал, — когда первую дочку носила, на улицу выходить стеснялась, очень молода была. А когда пришел час ей родить, за мою шею ухватилась — хрустит шея. Ну, думаю, выдержу, тебе хуже терпеть приходится».

У меня сохранились письма, которые Курков получал из дому, с Урала.

«Добрый вечер, веселая минута, здравствуй, мой дорогой муж Николай Павлович. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, а главное, в ваших боевых успехах. Коля, еще шлют тебе привет ваши милые дочери Галя и Люда».

Жена писала Куркову обстоятельно и просто. И в том, как она оберегала его от всех своих тягот и переживаний, видна была верная и добрая душа. Если и сообщит что-либо тяжелое, так и то уже миновавшее: «Коля, Люда у нас очень болела, а теперь опять бойкая». И ни стона, ни жалобы, ни просто вздоха. «Коля, мы время проводим быстро. Сначала дрова рубили, потом в огороде копали». Письма заканчивались почти одинаково: «Пиши, Коля, чаще. Письма редко ходят. Когда письмо придет, и мы очень рады и благодарим вас за письмо. Коля, пока до свиданья, остаемся живы, здоровы, того и вам желаем. Целуем мы вас 99 раз, еще бы раз, да далеко от вас».

Курков участвовал в штурме имперской канцелярии, одним из первых ворвался в здание и был смертельно ранен эсэсовцем из личной охраны Гитлера. Это произошло, когда над рейхстагом уже был водружен красный флаг.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАДАЧА

На щитах, указывающих направление движения, на танках, на снарядах, заряжающих пушки, и на стволах орудий — выведенная краской надпись: «На рейхстаг!» Он был у всех на уме в те дни в Берлине. Главное государственное здание Германии. Место заседаний высшего законодательного органа.

С ним связана одна из зловещих современных провокаций — поджог рейхстага в 1933 году.

Овладеть рейхстагом, водрузить на его куполе красное знамя — это значит оповестить мир о победе над фашизмом, над Гитлером.

29 апреля войска генерал-полковника Кузнецова подошли к Кенигсплац, на которую фасадом с шестью колоннами выходит серое здание рейхстага.

Внимание разведчиков обращено не на рейхстаг, а на продвижение частей к Вильгельмштрассе, к имперской канцелярии. Перед ними поставлена задача — последняя задача войны: захватить Гитлера.

Нельзя сказать, что нам тогда было доподлинно известно, что в убежище под рейхсканцелярией находится Гитлер со своим штабом. Сведения, которыми располагала разведка, были скудны, сбивчивы, нестойки и противоречивы. 23 апреля по берлинскому радио было передано, что Гитлер в столице. В «Берлинском фронтовом листке» от 27 апреля тоже содержались указания на это.

Доверится этим сообщениям мы, разумеется, не могли. Попадавшие в плен немецкие солдаты

тоже не особенно доверяли им. Некоторые из этих солдат полагали, что Гитлер улетел в Баварию или еще куда-то, другие вообще были безразличны ко всему, в том числе и к вопросу о его местопребывании, — они были оглушены, измучены всем пережитым.

Был захвачен «язык» — парнишка лет пятнадцати в форме гитлерюгенд, глаза красные, растрескавшиеся губы. Только что стрелял ожесточенно, а сейчас сидит, недоуменно озирается, даже с любопытством, — парнишка как парнишка. Удивительны эти мгновенные превращения на войне.

Он сказал, что их дивизия, которой командует рейхсфюрер молодежи Аксман, защищает Гитлера. Он это слышал от своих командиров. Они постоянно твердят об этом и что надо продержаться, пока армия Венка подойдет на помощь.

Весь день мне пришлось переводить при допросе пленных в подвале дома неподалеку от Потсдамской площади. Здесь находилась семья портного, женщина с сыном и девушка в лыжном костюме.

Несмолкаемый гул сражений приглушенно доносился в подвал. Иногда мы ощущали толчки, как при землетрясении.

Портной, пожилой человек, почти не вставал со стула. Он часто доставал карманные часы, подолгу рассматривал их, и все невольно следили за ним. Его взрослый сын-калека, перенесший детский паралич, сидел у ног отца, положив ему на колени голову. А старшая дочь либо спала, либо металась в тревоге: ее муж, фольксштурмовец, был

наверху, на улицах Берлина. Среди этих растерянных, измученных людей только жена портного была все время чем-то занята — несла свои материнские обязанности, которые не может прервать ни война, ни страх смерти. В положенное время она стелила на коленях салфетку и раскладывала крохотные кусочки хлеба с мармеладом.

Молодая женщина со строгим худым мальчиком и девушка в лыжном костюме были «беженцами» — пришельцами из другого подвала. Они старались занимать поменьше места. Женщина время от времени принималась громко рассказывать о себе: она жена пожарника, мобилизованного на фронт. Два года ждала мужа в отпуск домой и составляла список, что он должен был сделать в квартире: сменить дверную ручку, наладить шпингалеты и т. д. А теперь их дом сгорел. Мальчик болезненно морщился: ему, видимо, тяжело было, в который уже раз, слушать рассказы матери. А девушка была в грубых ботинках, с рюкзаком за спиной, который она не решалась снять. Ее, некрасивую, угловатую, никто не расспрашивал, кто она, откуда.

Здесь же сидели пленные, дожидавшиеся вызова на допрос. Немолодой немецкий лейтенант сказал мне тихо:

— Полдня сегодня я сижу с какими-то цивильными, — он имел в виду общество обитателей подвала. — Не знаю, известно ли это вам?

— Что ж поделаешь.

— Нет, пожалуйста, если это порядочные люди, я не возражаю.

Нас интересовало одно: где Гитлер. Он не мог

на это ответить, но хотел выговориться и начал издалека, поднявшись со стула и выпрямившись:

— Наш враг номер один была Англия, враг номер два — Россия. Чтобы разгромить Англию, мы должны были сначала покончить с Россией...

Голос его сорвался, ему трудно было продолжать.

— Боже мой!.. — сказал он и закрыл лицо руками.

Сдавшийся в плен шахтер из Эльзаса хмуро просил доверить ему оружие.

— Пусть в последние часы, — говорил он. — За все! — И, отвернув рукав, показывал татуировку — крест, подтверждающий его эльзасское происхождение.

Как ни мало было получено данных, но, сопоставляя их, вникая в характер немецкой обороны вокруг имперской канцелярии, можно было предположить — там Гитлер.

К вечеру 29 апреля была задержана медсестра, перебежавшая линию огня, чтобы разыскать свою мать. Разговаривая с нами, она вытащила из кармана пальто свою белую косынку, машинально или из желания быть под охраной красного креста, выведенного на белом поле косынки. На протяжении всей войны, едва появлялся знак красного креста, как немцы бомбили этот объект самым беспощадным образом.

Накануне медсестра сопровождала раненых с Фоссштрассе в единственное уцелевшее поблизости укрытие — в бомбоубежище рейхсканцелярии — и слышала от военных и от персонала, что Гитлер там, в подземелье.

29 апреля идут бои за овладение рейхстагом. К рейхстагу обращен наступательный порыв сражающихся советских войск. К нему же приковано внимание московской и фронтовой печати.

Но 29 апреля меньше пятисот метров отделяют наших бойцов от имперской канцелярии.

Рассвет. Улицы после боя. Убитый немецкий солдат. Разнесенные снарядами витрины, проломы в стенах, уводящие куда-то в темную глубину обезлюдевшего дома.

Ветер метет по торцовой мостовой сор, каменное крошево.

Под домом — наши солдаты. Кто-то спит на боку, поджав под себя колени, под голову положив обломок двери. Кто-то перематывает обмотки.

Последние медлительные минуты перед еще одним днем штурма...

Днем и ночью, нарастая, идет бой. Берлинский гарнизон, эсэсовские полки, войска, отступающие с Одера, из Кюстрина, войска, снятые с Эльбы, — все стянуто сюда, оборонять его, стоять насмерть у стен «канцелярии фюрера». Как сократилась линия германского фронта: теперь она опоясывает рейхсканцелярию — последнее убежище фашизма.

30 апреля в 11.30 приказ по штурмующим войскам: огонь из всех видов оружия!

Стреляют тяжелые орудия, самоходки, танки, пулеметы, автоматы. Стреляют орудия, пришедшие с Волги, — за всё и за всех. Потом артиллерия стихает, бойцы поднимаются на последний штурм...

1 мая на участке 8-й гвардейской армии появился немецкий парламентер, сообщивший, что начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Кребс просит дать ему возможность вступить в переговоры с советским командованием.

Кребс был препровожден к генерал-полковнику Чуйкову. Состоявшийся диалог Чуйкова и Кребса теперь известен. А тогда мы знали о смысле прихода Кребса лишь вкратце. Заявив о смерти Гитлера, Кребс просил перемирия, чтобы новое правительство Деница — Геббельса могло воссоединиться (Геббельс был в Берлине, а Дениц — под Фленсбургом) и снестись с Советским правительством — ставка Гитлера хотела в часы перемирия выбраться из берлинского кольца. На это Чуйков ему сказал, что речь может идти, как это обусловлено тремя союзниками, только о капитуляции.

Возникали новые обстоятельства — задача оставалась прежней: найти Гитлера, не живого, так мертвого.

2 МАЯ

Штаб Гитлера помещался в бомбоубежище под имперской канцелярией. В бомбоубежище было более пятидесяти комнат (в основном клетушек). Здесь же мощный узел связи, запасы продовольствия, кухня. С бомбоубежищем соединялся подземный гараж. Попасть в подземелье можно было с внутреннего двора рейхсканцелярии и из вестибюля, откуда вниз вела довольно широкая и пологая лестница. Спустившись по ней, сразу попадаешь в длинный коридор со множеством выхо-

дящих в него дверей. Чтобы достичь убежища Гитлера, нужно было проделать сравнительно длинный и путаный путь. А из внутреннего сада вход был непосредственно в «фюрербункер», как его называли обитатели подземелья.

Двухэтажный «фюрербункер» находился на большей глубине, чем убежище под имперской канцелярией, и железобетонное перекрытие было здесь значительно толще.

(Начальник личной охраны Гитлера — Ганс Раттенхубер в своей рукописи, написанной им в плену в России, характеризует это убежище так: «Новое бомбоубежище Гитлера было самым прочным из всех выстроенных в Германии — толщина потолочных железобетонных перекрытий бункера достигала восьми метров».

Ему это известно, ведь он был ответствен за безопасность Гитлера.)

Около входа в бункер стояла бетономешалка; здесь еще совсем недавно производились работы по усилению бетонного перекрытия убежища Гитлера, — вероятно, после прямого попадания в него артиллерийских снарядов.

Во всех этих подробностях мы разобрались лишь позже.

Штурмовые отряды прорвали последнее заградительное кольцо и ворвались в имперскую канцелярию.

Перестрелка в вестибюле с остатками уже разбежавшейся охраны. Спуск вниз. Из коридоров, из клетушек подземелья стали выходить военные и гражданские с поднятыми вверх руками. В коридорах лежали или сидели на полу раненые. Раздавались стоны.

Здесь, в подземелье и на этажах рейхсканцелярии, снова и снова завязывалась перестрелка.

Надо было мгновенно сориентироваться, отыскать все выходы из убежища и перекрыть их, разобраться в обстановке и начать поиски.

В пестрой публике, обитавшей в подземелье, нелегко было отыскать себе помощников — тех, кто больше других мог знать о судьбе Гитлера и мог быть проводником по лабиринту подземелья.

Первый беглый, торопливый опрос.

Обнаружен истопник, невзрачного вида цивильный человечек. С его помощью подполковник Иван Исаевич Клименко и майор Борис Александрович Быстров добрались до убежища Гитлера по темным коридорам и переходам, где на каждом шагу легко было напороться на пулю.

Апартаменты Гитлера были пусты. На стене висел портрет Фридриха Великого, в шкафу френч Гитлера, на спинке стула еще один его френч — темно-серый.

Маленький истопник сказал, что, находясь в коридоре, он видел, как из этих комнат вынесли два трупа, завернутые в серые одеяла, и понесли их к выходу из убежища. На этом обрывалась нить его наблюдений, показавшихся в первый момент малоправдоподобными. Клименко и Быстров вышли в сад имперской канцелярии, перемолотый огнем артиллерии. Что же дальше? Возможно, где-то здесь в саду они сожжены, но где именно?

О том, что нужно искать «место сожжения», стало очевидно с первых же шагов поисков, после того, как был обнаружен в подземелье плотный сорокалетний человек — техник гаража имперской канцелярии Карл Шнейдер.

28 и 29 апреля, точнее он не помнил, дежурный телефонист из секретариата Гитлера передал Шнейдеру приказание — весь имеющийся у него в наличии бензин отправить к бункеру фюрера. Шнейдер направил восемь канистр по двадцать литров каждая. В тот же день, позднее, он получил от дежурного телефониста дополнительное приказание — прислать пожарные факелы. У него имелось восемь таких факелов, и он отправил их.

Сам Шнейдер не видел Гитлера и не знал, в Берлине ли он. Но 1 мая он услышал от начальника гаража и от личного шофера Гитлера — Эриха Кемпки, что фюрер мертв. Слухи о его самоубийстве ходили и среди солдат охраны. Говорилось при этом, что труп его сожжен.

Сопоставляя эти слухи с приказаниями, которые он получал, Карл Шнейдер предположил, что отправленный им бензин понадобился для сожжения тела фюрера.

Но вечером 1 мая снова раздался звонок дежурного телефониста — опять требование: отправить весь имеющийся бензин к бункеру фюрера. Шнейдер слил бензин из баков автомашин и отправил еще четыре канистры.

Что означал этот звонок? Для кого на этот раз предназначался бензин?

Вместе со Шнейдером и поваром Ланге майор Быстров, подполковник Клименко и майор Хазин вышли в сад.

Изрытая снарядами земля, покореженные деревья, обгоревшие ветки под ногами, почерневшие от огня и копоти газоны, повсюду битое стекло, обвалившийся кирпич... Где то место, о котором,

не имея на то дополнительных указаний, с уверенностью скажешь: вот тут сжигали?

Они начали осматривать сад... В нескольких метрах от выхода из «фюрербункера» они обнаружили полуобгоревшие трупы Геббельса и его жены. Вот для чего понадобился снова бензин. Еще бы немного, и хлынувшая в имперскую канцелярию лавина красноармейцев растоптала бы их, не глянув под ноги, не заметив.

ДНЕВНИК ГЕББЕЛЬСА

Еще не отпылало небо над Берлином. Дымилось здание имперской канцелярии. В подземелье не работали вентиляторы, было душно, сыро и мрачно.

В те дни в подземелье — в убежище имперской канцелярии — мне приходилось разбираться во множестве бумаг и документов.

Донесения с мест уличных боев, сводки нацистского партийного руководства Берлина о безнадежности положения, о нехватке боеприпасов, о разложении среди солдат. Переписка Бормана. Личные бумаги Гитлера.

В первую очередь я отыскивала в этих бумагах то, что могло сколько-нибудь пролить свет на происходившее здесь в последние дни, дать какой-либо штрих или след, помогающий разгадать истинную развязку...

Вот Борман шлет в Оберзальцберг своему адъютанту Хуммелю телеграмму за телеграммой, помеченные красным штампом «geheim!» — «секретно!», датированные двадцатыми числами апреля. По характеру его распоряжений видно — шла

подготовка к размещению там, в Берхтесгадене, ставки Гитлера. Значит, собирались выбраться из Берлина.

Вот папка — информации противника по радио за последние дни апреля: агентство Рейтер из главной квартиры союзников, передачи из Москвы о боевых действиях на фронтах, телеграммы о событиях в мире — из Лондона, Рима, Сан-Франциско, Вашингтона, Цюриха.

Этими источниками в ставке Гитлера пользовались, чтобы составить себе представление о том, что происходит на других участках фронта и в самом Берлине в последние дни апреля. Связь с войсками к этому времени была окончательно утрачена.

Все бумаги, находившиеся в папке, отпечатаны на машинке огромными буквами. Никогда раньше я не встречала такого странного шрифта. Он меня поразил. Как будто смотришь в увеличительное стекло. Для чего это?

Позже я узнала, что это для Гитлера его секретарь Гертруда Юнге перепечатывала все бумаги на специальной машинке. Из соображений престижа Гитлер не желал пользоваться очками.

Вот сообщение иностранного радио о казни Муссолини и его любовницы Клары Петаччи. Карандаш Гитлера подчеркнул слова «Муссолини» и «повешены вниз головой». На какие мысли натолкнуло его это известие? К какому решению побуждало?

Эти бумаги погружали в историю уже смолкавшей войны. Они могли служить ключом к социально-психологическому портрету вождей и идеологов фашизма.

Одна из важных наших находок — дневники Геббельса.

Десяток толстых тетрадей, убористо исписанных прямыми с нажимом буквами, тесно наседающими одна на другую, неразборчивыми. Первые тетради дневника относились к 1932 году — еще до прихода фашистов к власти, последняя оканчивалась серединой 1941 года.

Мне было крайне досадно, что нет возможности засесть за этот дневник, нелегко поддающийся прочтению. Нужен был многодневный, усидчивый труд. А мы не располагали и минутами — тогда перед нами стояла неотложная задача: установить, что произошло с Гитлером, и найти его.

Мы разыскивали документы. Ознакомившись с ними, я снабжала их аннотациями, и они пересылались дальше — в штаб фронта.

В последующие годы, вспоминая о тетрадях Геббельса, я опасалась, что они затерялись среди множества других документов, стекавшихся тогда в штаб фронта со всех участков боев.

Но сейчас, спустя почти двадцать лет, мне представилась возможность прочитать дневник Геббельса, сохранившийся в архиве.

Вот последняя тетрадь — май, июнь, начало июля 1941 года. Она отражает факты и атмосферу подготовки к нападению на Советский Союз. Раскрывает характер провокаций, методы «маскировок», предпринятые тогда фашистской Германией. Эти страницы имеют определенный исторический смысл, они расширяют наши представления об обстановке, в которой началась война.

Дневник Геббельса — саморазоблачительный документ. Едва ли можно выразительнее, чем он это

сделал сам, рассказать о типе политического деятеля, выдвинутого на авансцену фашизмом. Со страниц дневника встает его автор — маньяк и фанфарон, игрок и позер, плоский, злобный карьерист, одна из тех мизерабельных личностей, чьей воле подчинился немецкий народ.

К делу и не к делу Геббельс упорно твердит: «я приказал», «я пресек», «я энергично вмешиваюсь», «я отчитал», «я это предвидел», «я энергично протестую». Он самодовольно рассыпает в дневнике похвалы своим статьям: «Хорошо получилось!», «По стилю будет нетрудно догадаться, кто автор». О сборнике своих военных статей и речей: «Это будет хорошее и эффективное собрание. Вероятное заглавие: «Между вчерашним и завтрашним днем». Какая колоссальная работа впитана этой книгой! За два года напишешь и наговоришь немало», «Моя статья о Крите — блестяща».

В его пропагандистском хозяйстве — без осечек. Когда же его радиопередача потерпела неудачу, — пиетет фюрера — единственный раз! — принесен в жертву тщеславию Геббельса. Он записывает в дневнике: «Я, невиновный, должен быть козлом отпущения...» С этим он не согласен. Это фюрер настаивал на такой подаче материала.

Дневник утилитарен. Его автор не ведает раздумий о жизни, рефлексий. Его духовная жизнь примитивна, лишена модуляций и оттенков. Торжество или уныние, ликование или апатия, восторженное почитание или злобная ненависть.

«...Русские будут сбиты с ног, как до сих пор

ни один народ! И большевистский призрак скоро исчезнет!»

И тут же вслед его категорическое, как обычно, суждение об итальянцах, своих партнерах:

«Я думаю, что итальянцы ныне самый ненавистный народ во всей Европе» (12 июня).

После просмотра фильма о культурной жизни Америки он записывает: «Безобразие! Это не страна, а пустыня цивилизации. И они хотят принести нам культуру... Впрочем, наша высшая культурная миссия состоит в том, чтобы победить американцев» (27 мая).

Геббельс предан своему суверену Гитлеру, карабкается изо всех сил, чтобы заслужить его похвалу, одобрение, и копит их в дневнике. В то же время он со злобной ревностью поглядывает на каждого, кто может приблизиться к его господину, оторвать и себе листок из венка. Он старается представить своих соперников в самом невыгодном свете перед лицом истории, к которой, надо думать, апеллирует дневник. В этой тетрадке, охватывающей всего лишь полтора месяца, достается Риббентропу, Лею, улетевшему в Англию Гессу и даже Борману, с которым позже он находит контакт. Поносятся дуче, Антонеску, Павелич, Маннергейм...

Геббельс расчищает площадку для триумфального постамента, на который взойдет фюрер лишь в его сопровождении.

Он мстителен. Признавая «долю правды» за жалобой ОКВ[1] по поводу усилившейся пропаганды СС, плохо влияющей на армию, он тут же в долгу

---

[1] Верховное командование вооруженных сил Германии.

не остается: «Я жаловался на Браухича. Он тоже слишком настойчиво бьет в собственный барабан».

Дневник Геббельса — в сфере каждодневных дел министра пропаганды третьей империи. В мае — июне 1941 года это сфера подготовки к нападению на Советский Союз, начало войны.

Геббельс — один из немногих посвященных в готовящуюся операцию «Барбаросса» и активный ее участник.

«Дрожу от возбуждения, — записывает он 5 июня. — Не могу дождаться дня, когда разразится шторм».

Первые отголоски подготавливаемого нападения появляются в дневнике 24 мая. Геббельс направляет своего представителя к Розенбергу, которому предназначался пост министра по делам оккупированных восточных территорий, для согласования действий в готовящейся операции.

«Р.[1] должна быть разложена на составные части», «на Востоке нельзя потерпеть существования такого колоссального государства.

...У нас прекрасная погода, но нет времени для отдыха. Вечно звенящий телефон приносит новые и новые известия. Напряженная и возбужденная жизнь. Пожалеешь, когда это кончится».

Главное, чем он сейчас занят, — активной дезинформацией, распространением ложных слухов о якобы готовящемся вторжении в Англию, чтобы замаскировать истинные намерения Германии.

«Посеянные нами слухи о вторжении действуют. В Англии царит исключительная нервозность.

Относительно России удалось успешно переме-

---

[1] Россия.

нить характер информаций. Множество «уток» мешает загранице понять, где правда и где ложь. Так и должно быть. Такова необходимая нам атмосфера» (25 мая).

«Операция «Барбаросса» развивается. Начинаем первую большую маскировку. Мобилизуется весь государственный и военный аппарат. Об истинном ходе вещей осведомлено лишь несколько человек. Я вынужден направить все министерство по ложному пути, рискуя, в случае неудачи, потерять свой престиж.

За дело!

14 дивизий направляется на Запад. Понемногу развертываем тему вторжения. Я приказал сочинить песню о вторжении, новый мотив, усилить использование английских радиопередач, инструктаж рот пропаганды по Англии и т. п. На все дано две недели. Уходит много времени, денег, энергии, но окупится. В министерстве посвящены в тайну только Хадамовский и [Фиш][1].

Если не проболтаются, а на это, учитывая небольшой круг посвященных, можно рассчитывать, то обман удастся.

Марш вперед!

Наступает напряженное время. Мы докажем, что наша пропаганда непревзойденная. Гражданские министерства ни о чем не подозревают. Они работают в заданном направлении. Интересно будет, когда все взорвется» (31 мая).

Почти вся материковая Европа уже либо под пятой фашистской Германии, либо в союзе с ней. Одна Англия воюет с Германией.

---

[1] Неразборчиво.

После многодневного сопротивления англичан победа, одержанная в сражении за Крит, распаляет Геббельса:

«Прекрасный день! Великолепные успехи! Я счастлив и радуюсь жизни. Я пишу свою передовую, как говорится, сплеча.

Божественное солнце. Одурманивающий день Троицы.

После обеда гости... Много болтали на военные темы. Победа на Крите воодушевила и воспламенила сердца. Для германского солдата нет ничего невозможного» (3 июня).

«Почти во всех областях мы имеем колоссальное превосходство, даже если прибавить США. Британская империя медленно, но верно идет к гибели» (4 июня).

Теперь — на Советский Союз. Нападение должно быть произведено внезапно. И Геббельс всячески маскирует истинный замысел.

«Мы форсируем тему вторжения». Над Англией сбрасываются листовки, демонстративно передвигаются на запад дивизии, раздувается миф о близком вторжении в Великобританию. «Мы действуем во имя всеобщей суматохи» (5 июня).

7 июня Геббельс получает программу территориального раздела России:

«Азиатская часть Р. не подлежит обсуждению. А европейская будет прибрана к рукам. Сталин ведь сказал недавно Матцуока, что он азиат. Вот, пожалуйста!» (7 июня).

У себя в стране Геббельс вовсю готовится к новой войне. Он «завинчивает гайки» где только может: запрещает показ заграничных фильмов в «Кабаре комиков», куда на просмотр «собираются

все критиканы». Готовит «новые мероприятия против берлинских евреев». Обрушивается на ту часть прессы, которая недостаточно превозносит успехи германского оружия, обзывая ее «мещанской прессой». Вмешивается в вопросы сохранения военной тайны во всех берлинских министерствах. «Придется беспокоить даже гестапо».

У него самого в министерстве то шпион, то заподозренный им в шпионаже. «Я приказываю за ним следить». Записи Геббельса свидетельствуют о его постоянной тесной связи с гестапо.

Он препятствует Лею, профсоюзному фюреру, выступать с обещаниями новых послевоенных социальных программ, чтобы не возбуждать в народе аппетит к миру. Вместе с тем он снимает существующий запрет на танцы. «Это нужно, чтобы по возможности замаскировать нашу следующую операцию. Народ должен верить, что мы теперь «напобеждались досыта» и ничем больше не интересуемся, как только отдыхом и танцами» (10 июня). Через два дня он снова записывает: «Проработал с Глассмайером новую программу радиопередач. Теперь полностью переключаемся на легкую художественную программу. Снят также запрет с танцев. Это все в целях маскировки».

Геббельс решает ослабить антиникотиновую пропаганду, чтобы не задеть солдат-курильщиков, не вносить в народ «воспламеняющиеся вещества». «Война скрывает в себе и без того достаточно естественных воспламенителей. Поэтому я приказываю немного прикрутить слишком резкую антицерковную пропаганду. Для этого достаточно будет времени после войны» (17 июня).

Сея слухи о вторжении в Англию, чтобы

отвлечь внимание от подготовки к нападению на Советский Союз, он напряженно следит за реакцией противной стороны:

«Слухи о предстоящем нападении на Украину. Довольно-таки обоснованные. Мы должны применять более надежные способы обмана.

Я энергично возьмусь за это» (7 июня).

С упоением раскрывает он свою провокационную кухню:

«Совместно с ОКВ и с согласия фюрера я разрабатываю мою статью о вторжении. Тема «Остров Крит в качестве примера». Довольно ясно. Она должна появиться в «Фелькишер беобахтер» и затем быть конфискована. Лондон узнает об этом факте спустя 24 часа через посольство Соединенных Штатов. В этом смысл маневра. Все это должно служить для маскировки действия на Востоке. Теперь нужно применять более сильные средства... Во второй половине дня заканчиваю статью. Она будет великолепной. Шедевр хитрости» (11 июня).

Статья написана, санкционирована фюрером, «с надлежащим церемониалом направляется в «Фелькишер беобахтер». Конфискация произойдет ночью».

Этот трюк Геббельс расценивает как свой козырной вклад в осуществление внезапного нападения на Советский Союз. Смысл трюка в том, что статья, рассматривающая операцию по овладению Критом, содержит явный намек на поучительность опыта этой операции для предстоящего якобы вторжения в Англию. А конфискация номера должна убедить: Геббельс выболтал истинные намерения.

«Подозрений противника вряд ли можно ожидать.

С Таубертом и Фишем обсудил мероприятия по Востоку. В организационном отношении все в порядке. Английский отдел пропаганды постепенно распускается. Для Р. у меня есть Мало, Мауэр и в первую очередь Пальтцо. Они хорошо делают свое дело. Принял новые аппараты для сбрасывания листовок. В общем, будет отпечатано около 50 миллионов листовок. В имперской типографии. Упаковку производят 45 солдат, которые до начала операции не будут отпущены. Предательство, таким образом, невозможно. Идет работа большого масштаба, и ни один человек об этом ничего не подозревает».

«Вопрос о России становится в мире с часу на час все большей загадкой. Надо надеяться, что она будет разгадана не слишком рано. Мы делаем все, чтобы замаскировать это дело. Но как долго это будет возможным, знают только боги» (11 июня).

Наконец в пятницу, 13 июня, статья Геббельса появляется в «Фелькишер беобахтер». Она «действует как бомба». Все идет по расписанию: ночью номер газеты конфискуется, вызывая тем самым еще большее к себе внимание.

«Большая сенсация. Английские радиостанции заявляют, что наше выступление против России просто блеф, за которым мы пытаемся скрыть наши приготовления к вторжению в Англию. В этом была цель маневра...

Русские, кажется, еще ничего не предчувствуют. Во всяком случае, они развертываются таким образом, что совершенно отвечают нашим желаниям: густомассированные силы — легкая добыча для пленения.

...Я даю Винкелькемперу секретное поручение

передать по радио на иностранных языках английское мнение о вторжении и неожиданно на середине прервать эту передачу. Как будто в передачу вмешались ножницы цензуры.

Это тоже будет содействовать тревоге» (14 июня).

И еще записи, помеченные той же датой:

«Моя статья является в Берлине большой сенсацией. Телеграммы несутся во все столицы. Блеф полностью удался. Фюрер этому очень рад. Йодль восхищен».

«Москва публикует опровержение: ей ничего не известно о наступательных замыслах империи. Движение наших войск имеет другие цели. Во всяком случае, Москва якобы совсем ничего не предпринимает против нас. Великолепно!»

«Я приказываю распространить в Берлине сумасбродные слухи: Сталин якобы едет в Берлин, шьются уже красные знамена и т. д. Д-р Лей звонит по телефону, он целиком попался на эту удочку. Я оставляю его в заблуждении. Все это в настоящий момент служит на пользу дела».

«Наш спектакль удался превосходно. Связь с США осуществляется посредством лишь одного кабеля, но этого достаточно, чтобы дело стало известно всему миру. Из подслушанных телефонных разговоров иностранных журналистов в Берлине можно заключить, что все попались на удочку. В Лондоне снова много разговоров на тему о вторжении... Опровержение ТАСС еще резче, чем было в первый раз. Объяснение: очевидно, путем тщательного соблюдения договора о дружбе и утверждения, что ничего на самом деле нет, Сталин хочет показать эвентуального виновника вой-

ны. Из захваченных по радио сообщений мы в свою очередь можем заключить, что Москва приводит русский флот в боевую готовность. Таким образом, там уже больше не так беззаботны, как это делают вид. Но приготовления ведутся чрезвычайно по-дилетантски. Их действия всерьез принимать нельзя.

ОКВ очень довольно успехом моей статьи. Она представляет собой великолепную отвлекающую атаку» (15 июня).

В министерстве пропаганды сотрудники, не посвященные в темные замыслы своего шефа, по его словам, опечалены, что он допустил серьезную «ошибку». Геббельс отказывается идти на пресс-конференцию. «Это выглядит очень демонстративно. Между тем я испытываю новые фанфары для радиопередач. Это очень подходит к обстановке». К обстановке блефа, мнимой опалы, печальных вздохов сочувствия.

Эти «фанфары» — музыкальное вступление, возвещающее об особой важности радиопередачи. В день, когда германские войска нападут на Советский Союз, они прозвучат вступлением к речи Гитлера, который оповестит мир о новой войне.

Пущенные Геббельсом слухи роятся, сталкиваются, искажаются. И в мире говорят то о войне на Востоке, то о войне против Англии.

Блеф, угрозы, шантаж, пропагандистские диверсии, круговерть пущенных слухов — «действовать во имя всеобщей суматохи» (5 июня).

Геббельс рассматривает войну еще и как поставщика обильного материала для немецкой кинохроники.

«Естественно, что в такое сравнительно спокойное время, она (кинохроника) не может быть так

хороша, как во время боевых действий». «Войну мы не можем показывать в кинохронике. Но она ведь недолго заставит себя ждать. Тогда опять будут дела... Итак, давайте готовиться! Дабы не прозевать!»

И ни малейшей оглядки ни разу на то, что и немецкие солдаты смертны и боевые действия, которые жадно будут фиксировать операторы Геббельса, несут и им гибель и страдания. Лишь бы еще раз записать в дневнике: «Последние кинохроники особенно понравились фюреру. Он характеризует их как лучшее средство воспитания и организации народа» (16 июня).

«Заключил соглашение с Розенбергом в отношении работы на Востоке. У нас будет полное взаимопонимание. Если к нему иметь подход, с ним можно работать» (15 июня). «Военные приготовления ведутся непрерывно дальше» (16 июня). Геббельс не забывает и о себе: в Берлине, на Герингштрассе, где он проживает, идет строительство мощного бомбоубежища. Это будет «колоссальное сооружение», — с удовлетворением замечает он.

В Шваненвердере, под Берлином, в придачу к уже имеющимся у него загородным домам заканчивается строительство замка Геббельса. Здесь все «великолепно», по его мнению, — и само здание, и то, как жена обставила его. Здесь, в комфортабельной глуши, на фоне идиллического пейзажа д-р Геббельс намерен еще продуктивнее действовать «во имя всеобщей суматохи». Не забывая тем временем выуживать из этой суматохи лакомые куски: «Купил из французских частных рук дивную картину Гойи».

Свозятся отовсюду картины в министерство пропаганды.

«Мы уже собрали удивительную коллекцию. Постепенно министерство превратится в художественную галерею. Так оно и должно быть, к тому же здесь ведь управляют искусством». И намерены управлять им в мировом масштабе.

Берлин мнится ему городом, откуда диктуют миру все: политику и моду.

По поручению Геббельса разрабатывается план учреждения Берлинской академии моды под руководством Бенно фон Арента, тогдашнего фюрера немецких художников.

В Берлин переманивают иностранных киноартистов. После беседы с одной итальянской артисткой Геббельс записывает: «Все они хотят работать в Германии, потому что в Италии не видят больше для себя перспективы. Мы должны увеличить наш типаж, потому что после войны мы ведь будем обеспечивать фильмами гораздо большее число национальностей», «Самые видные актеры должны перебраться из других стран в Германию» (13 июня).

В другом месте он записывает, что дал задание «собрать во всех европейских странах знаменитых артистов для Берлина. Мы должны также максимально увеличить производство наших фильмов».

Занимаясь кинохроникой, он все время ревниво соперничает с английской и американской кинохрониками.

Мания германского величия простирается на все. Приоритет во всем — таков тщеславный девиз фашистской Германии. И для достижения приоритета все средства хороши.

Вот как Геббельс инструктирует своего сотрудника, направляя его представителем германской кинематографии в союзническую Италию:

«Задача: как можно больше вынести для нас полезного. Сохранять хорошую мину при плохой игре. Не давать итальянскому кино слишком развиваться. Германия должна остаться руководящей кинодержавой и еще более укреплять свое доминирующее положение».

Но лишь один вид искусства подвластен ему — искусство шантажа, провокации, заговора.

15 июня, воскресенье. Последнее воскресенье перед страшной войной на Востоке.

Тайное свидание заговорщиков.

«После обеда фюрер вызывает меня в имперскую канцелярию. Я должен пройти через заднюю дверь, чтобы никто не заметил. Вильгельмштрассе находится под постоянным наблюдением журналистов, поэтому уместна осторожность. Фюрер выглядит великолепно и принимает меня с большой теплотой. Моя статья доставила ему огромное удовольствие. Она опять дала нам некоторую передышку в наших лихорадочных приготовлениях. Фюрер подробно объясняет мне положение: наступление на Россию начнется, как только закончится развертывание наших сил. Это произойдет примерно в течение одной недели. Кампания в Греции в материальном отношении нас сильно ослабила, поэтому это дело немного затягивается. Хорошо, что погода довольно плохая и урожай еще не созрел.

Таким образом, мы надеемся получить еще и

большую часть этого урожая. Это будет массированное наступление самого большого масштаба. Наверное, самое большое, которое когда-либо видела история. Пример с Наполеоном не повторится. В первое же утро начнется бомбардировка из 10 000 орудий. Мы применим новые мощные артиллерийские орудия, которые в свое время были намечены для линии Мажино, но не были использованы. Русские сосредоточились как раз на границе. Самое лучшее, на что мы можем рассчитывать. Если бы они эшелонировались вглубь, то представляли бы большую опасность. Они располагают 150—200 дивизиями, может быть, немного меньше, но, во всяком случае, примерно столько же, сколько у нас. Но в отношении материальной силы они с нами вообще не могут сравниться. Прорыв осуществится в разных местах. Русские без особых трудностей будут отброшены назад. Фюрер рассчитывает закончить эту операцию примерно в четыре месяца. Я полагаю, в меньший срок. Большевизм развалится, как карточный домик. Впереди нас ждет беспримерная победа.

...Наша операция подготовлена так, как это вообще человечески возможно. Собрано столько резервов, что неудача исключена. Операция не ограничивается географическим пространством. Борьба будет длиться до тех пор, пока перестанет существовать русская вооруженная сила. Япония — в союзе с нами. Для Японии эта операция также необходима. Токио якобы никогда не рискнет на борьбу с США, если у него с тыла находится еще совсем невредимая Россия. Таким образом, Россия должна пасть и для осуществления этой цели... Я оцениваю боевую мощь русских очень

низко, еще ниже, чем фюрер. Изо всех ранее имевших место операций эта операция является самой обеспеченной.

Мы должны напасть на Россию также и для того, чтобы получить людей. Небитая Россия вынуждает нас держать постоянно 150 дивизий, людской состав которых нам крайне необходим для нашей военной промышленности. Наша военная промышленность должна работать более интенсивно, чтобы мы могли выполнить нашу программу по производству оружия, подводных лодок и самолетов, тогда США также не смогут нам ни в чем повредить. Имеется материал, сырье и машины для работы в три смены, но не хватает людей. Когда Россия будет побеждена, то мы сможем демобилизовать несколько возрастов и затем строить, вооружать и подготавливаться. Лишь после этого можно начать наступление на Англию с воздуха в большом масштабе. Вторжение в Англию с суши при всех обстоятельствах вряд ли возможно. Таким образом, надо создать другие гарантии победы.

На этот раз мы идем совершенно другим путем, чем обычно, и играем новую пластинку. Мы не полемизируем в прессе, сохраняем полное молчание и в один прекрасный день просто наносим удар. Я настойчиво уговариваю фюрера не созывать в этот день рейхстага. Иначе нарушится вся наша система маскировки. Он принимает мое предложение прочитать воззвание по радио...

Цель похода ясна: большевизм должен пасть, и у Англии будет выбита из рук также последняя шпага на континенте...

Возможно, мы обратимся к германским епископатам обоих вероисповеданий с тем, чтобы они

благословили эту войну, как ниспосланную богом. В России не будет восстановлен царизм, но в противовес большевизму будет осуществлен настоящий социализм. Каждому старому нацисту доставит глубокое удовлетворение, что мы это увидим. Сотрудничество с Россией являлось, собственно говоря, грязным пятном на нашей чести. Теперь мы уничтожим также то, против чего мы сражались всю жизнь. Я высказываю это фюреру, и он со мной полностью соглашается. Я замалвливаю словечко также за Розенберга, цель жизни которого, благодаря этой операции, снова оправдывается.

Фюрер говорит, правдой или неправдой, но мы должны победить. Это единственный путь, и он верен морально и в силу необходимости. А когда мы победим, кто спросит нас о методе? У нас и без того столько на совести, что мы должны победить, иначе наш народ и мы во главе со всем, что нам дорого, будем стерты с лица земли. Так за дело!

Фюрер не спрашивает, что думает народ. Народ думает, что мы действуем с Россией заодно, но будет вести себя так же храбро, если мы призовем его к войне с Россией.

...Опровержение ТАСС, по мнению фюрера, лишь результат страха. Сталин дрожит перед наступающими событиями. С его фальшивой игрой будет покончено. Мы используем сырьевые ресурсы этой богатой страны. Надежда англичан уничтожить нас путем блокады тем самым окончательно не оправдалась, и после этого лишь начнется настоящая подводная война.

Италия и Япония получат теперь сообщения, что мы намереваемся в начале июля предъявить

России определенные ультимативные требования. Об этом заговорят повсюду. Тогда опять в нашем распоряжении окажется несколько дней. О всей широте намеченной операции дуче еще полностью не информирован. Антонеску знает немного больше. Румыния и Финляндия выступают вместе с нами. Итак, вперед! Богатые поля Украины манят. Наши полководцы, которые в субботу были у фюрера, подготовили все наилучшим образом. Наш аппарат пропаганды находится наготове и ждет...

...Я должен теперь подготовить все самым тщательным образом. Необходимо, невзирая ни на что, дальше распространять слухи: мир с Москвой, Сталин едет в Берлин, вторжение в Англию предстоит в ближайшее время, чтобы завуалировать всю обстановку, какова она есть на самом деле. Надо надеяться, что это некоторое время еще продержится...

...Проехал через парк, через задний портал, где люди беззаботно гуляют под дождем. Счастливые люди, которые ничего не знают о всех наших заботах и живут лишь одним днем. Ради всех них работаем и боремся мы и берем на себя любой риск. Дабы здравствовал наш народ».

«Я обязываю всех ничего не говорить о моем тайном посещении фюрера».

Под завесой летнего дождя и легкой веселой музыки, льющейся по радио, заговорщики тайно обсудили зловещий план.

А немцы в это последнее воскресенье «беззаботно гуляют под дождем», не ведая о той катастрофе, в которую они будут ввергнуты через несколько дней теми, кому так безрассудно доверили управлять своей судьбой.

Последние дни... 17 июня. «Все приготовления закончены. В ночь с субботы на воскресенье должно начаться. В 3 ч. 30 м. Русские все еще стоят на границе густомассированным строем. Со своими крохотными транспортными возможностями они не смогут в несколько дней изменить это положение.

...США потребовали от наших консульств до 10 июля ликвидироваться и покинуть страну. Ликвидируется также информационная библиотека нашего министерства в Нью-Йорке. Все это мелкие булавочные уколы, но не удар ножом. Мы всегда сумеем с этим справиться». По поводу «замораживания» германских вкладов в США Геббельс записывает: «Он (Рузвельт) может нас только щекотать».

18 июня. «Маскировка в отношении России достигла кульминационного пункта. Мы наполнили мир потоком слухов, так что самому трудно разобраться... Наш новейший трюк: мы намечаем мирную конференцию с участием России. Приятная жратва для мировой общественности, но некоторые газеты чуют запах жареного и почти догадываются, в чем дело.

...Испытывал новые фанфары. Все еще не нашел нужного. При этом следует все маскировать».

«Слухи — наш хлеб насущный», — записывает накануне Геббельс.

Кроме специальных «распространителей», мир наводняет слухами пресса германских союзников, в первую очередь итальянская. «Они болтают обо всем, что знают и чего не знают. Их пресса ужасно несерьезна, — приводит Геббельс высказанные

Гитлером в разговоре с ним соображения. — Они уже сыграли с нами в известной мере злую шутку. Благодаря своей болтливости они нанесли также серьезный ущерб всей операции на о. Крит. Поэтому их нельзя посвящать в тайны, по крайней мере в такие, разглашение которых нежелательно».

Зато к «тайнам», разглашение которых желательно, немцы приобщают итальянцев с особой охотой.

«Работал до позднего вечера. Вопрос о России становится все более непроницаемым. Наши распространители слухов работают отлично. Со всей этой путаницей получается почти как с белкой, которая так хорошо замаскировала свое гнездо, что под конец не может его найти».

И тут же, через несколько абзацев, с нервической непоследовательностью: «Наши замыслы в отношении России постепенно раскрывают. Угадывают. Время не терпит. Фюрер звонит мне еще поздно вечером: когда мы начнем печатать и как долго сможем использовать три миллиона листовок. Приступить немедленно, срок — одна ночь. Мы начинаем сегодня» (18 июня).

Записи этих дней заканчиваются вздохами: «Время до наступления драматического часа тянется так медленно». «Ожидаю с тоской конца недели. Это действует на нервы. Когда начнется, тогда почувствуешь, как всегда, что у тебя точно гора с плеч свалилась».

19 июня. «Нужно на первый случай отпечатать 20 000 листовок для наших солдат. Я приказываю сделать это с соблюдением всех правил предосторожности. Типография будет опечатана гестапо, и рабочие до определенного дня из типографий не

выйдут. Там они получат питание и постели. Отпечатанные и упакованные листовки будут переданы представителям немецкой армии и под попечением офицеров отправлены на фронт. Там утром к началу операции каждая рота получит по одной листовке.

...Вопрос о России теперь постепенно разъясняется. Да этого и невозможно было избежать. В самой России готовятся ко Дню Морского Флота. Вот будет неудача».

20 июня. «Вчера: ужасно много дел. Сумасшедшая спешка. ...Обращение фюрера к солдатам восточной армии отпечатано, упаковано и разослано. Но подлежит переделке из-за неточного объяснения сути германо-русского пакта. На врага! Блестящее изложение дела. Приняв величайшие меры предосторожности, мы разрешаем упаковщикам отправиться на фронт».

«У фюрера: дело с Россией совершенно ясно. Машина приходит постепенно в движение. Все идет как по маслу. Фюрер восхваляет преимущество нашего режима... Мы сохраняем народ в едином мировоззрении. Для этого служат кино, радио и печать, которые фюрер характеризовал как самые значительные средства для воспитания народа. От них государство никогда не должно отказываться. Фюрер хвалит также хорошую тактику нашей журналистики...»

21 июня. «Вчера: драматический час приближается. Напряженный день. Еще требуется разрешить массу мелочей. От работы трещит голова.

...Вопрос о России с часу на час все более драматизируется. Молотов просил разрешения приехать в Берлин, но в просьбе было отказано.

Это следовало бы ему сделать на полгода раньше. Все наши противники гибнут из-за опозданий...

...Испытывал новые фанфары. Теперь нашел нужные.

После обеда работал в Шваненвердере. Там я более спокоен и сосредоточен.

...В Лондоне теперь правильно понимают в отношении Москвы. Войну ожидают каждый день.

...Фюрер очень доволен нашими фанфарами, он приказывает еще кое-что добавить. Из песни «Хорст Вессель»...»

22 июня...

С несокрушимой методичностью Геббельс описывает, как всегда, истекший день. И хотя в те часы, когда он это пишет, мир уже потрясен известием о нападении на Россию и поступают новые сведения с Восточного фронта, он долго болтает в дневнике о том о сем — о прослушивании новых фанфар, о беседе с актрисой, приглашенной сниматься в новом военном фильме, о завтраке в честь Паволини, об обеде, устроенном им для итальянцев у себя в Шваненвердере, — прежде чем подойти к главному:

«В 3 ч. 30 м. начнется наступление. 160 укомплектованных дивизий. Фронт в 3 тысячи километров. Много дебатов о погоде. Самый большой поход в мировой истории. Чем ближе удар, тем быстрее исправляется настроение фюрера. С ним так всегда бывает. Он просто оттаивает. У него сразу пропала вся усталость.

...Наша подготовка закончена. Он (Гитлер. — *Е. Р.)* работал над ней с июля прошлого года, и вот наступил решающий момент. Сделано все, что

вообще было возможно. Теперь должно решать военное счастье.

...3 часа 30 минут. Загремели орудия.

Господь, благослови наше оружие!

За окном на Вильгельмплац все тихо и пусто. Спит Берлин, спит империя. У меня есть полчаса времени, но не могу заснуть. Я хожу беспокойно по комнате. Слышно дыхание истории.

Великое, чудесное время рождения новой империи. Преодолевая боли, она увидит свет.

Прозвучала новая фанфара. Мощно, звучно, величественно. Я провозглашаю по всем германским станциям воззвание фюрера к германскому народу. Торжественный момент также для меня.

...Еще некоторые срочные дела. Затем еду в Шваненвердер. Чудесное солнце поднялось высоко в небе.

В саду щебечут птицы.

Я упал на кровать и проспал два часа.

Глубокий, здоровый сон».

Геббельс вступает в войну, уповая на то, что «для германского солдата нет ничего невозможного», и на инстинкт фюрера («У фюрера снова инстинкт оказался верным»). Пресловутый инстинкт Гитлера — он был последним доводом для его приближенных в подземелье имперской канцелярии в роковые дни, когда Берлин был окружен советскими войсками и катастрофа надвинулась неминуемо.

23 июня. «Русские развертывают свои силы подобно французам в 1870 году. И потерпят такую же катастрофу... Мы скоро с ними справимся. Мы должны скоро справиться. В народе слегка подавленное настроение. Народ хочет мира, правда не

позорного, но каждый новый театр военных действий означает горе и заботы».

«Карты России большого масштаба я пока придерживаю, — записывает он на другой день. — Обширные пространства могут только напугать наш народ». «В народе колебания. Слишком внезапен поворот. Общественность должна к нему сначала привыкнуть. Долго не продлится, — цинично замечает он. — До первых ощутимых побед».

Зарвавшиеся авантюристы, они возлагают теперь надежды лишь на военные победы. Их пугает повсеместное недовольство из-за продовольственного бедствия, в которое они ввергли свою страну и всю фашистскую коалицию.

В Германии очень плохо с продовольствием, записывает Геббельс перед нападением на Советский Союз, предстоит еще снижение нормы на мясо. В Италии — «безутешная картина». «Повсюду отсутствует организация и систематика. Нет ни карточной системы, ни приличной еды, а вместе с тем большой аппетит на завоевания. Хотят, по возможности, чтобы мы вели войну, а сами пожинать плоды. Фашизм еще не преодолел свой внутренний кризис. Он болен телом и душой. Слишком сильно разъедает коррупция».

Война призвана приглушить все внутренние противоречия фашизма.

Военный успех — их единственный бог.

Геббельс сам и с помощью фюрера запрещает ОКВ христианские издания для солдат. «У солдат теперь есть занятия получше, чем читать трактатики». «Это изнеженное, бесхребетное учение самым худшим образом может повлиять на солдат».

Но настроение «крестового похода» против СССР, во всяком случае для внешнего обихода, чрезвычайно раздувается. «Для нас это вполне подходит». «Можем хорошо использовать».

«Итак, вперед! Богатые поля Украины манят».

Но при этом: «Я не позволяю затрагивать вопросы экономических выгод в результате победы над Москвой. Наша полемика ведется исключительно в политической плоскости».

«Во всех странах необычайно восхищаются мощью наших вооруженных сил». «Я думаю, что война против Москвы психологически и, возможно, в военном отношении будет самым большим успехом для нас».

«Финляндия теперь официально вступает в войну. Швеция пропускает одну немецкую дивизию... В Испании демонстрации, направленные против Москвы, Италия намеревается послать экспедиционный корпус, если это только не обернется против них же, антибольшевистский фронт Европы продолжает создаваться».

«Турция все тверже становится на нашу сторону».

«Группа Маннергейма в Финляндии готова к операциям».

«Япония должна получить свободные руки в Китае, чтобы она могла быть включена в наш расчет».

«Евреи в Молдавии стреляют в немецких солдат. Но Антонеску производит чистку. Он ведет себя в этой войне вообще великолепно». «Венгры продвигаются через Карпаты. Занят Тарнополь. Нефтяная область попала почти неповрежденной в наши руки».

«Друзья Англии пришли в конфликт с большевиками. Разлад во вражеском лагере все более углубляется. Это время надо, по возможности, полнее использовать. Пожалуй, можно будет этот разлад настолько обострить, что фронт противника придет в колебание» (28 июня), — идея, которая, как мы потом увидим, до самого последнего часа владела Гитлером.

Все заняты определением срока победы. Если Гитлер назвал четыре месяца, то теперь отовсюду раздаются голоса, предрекающие победоносное окончание войны через недели и даже дни.

В дневнике теперь близкое предвкушение триумфа. Главная забота Геббельса, чтобы триумф не оказался несколько общипанным забегающими вперед прорицаниями.

«Я резко выступаю против глупых определений сроков победы со стороны министерства иностранных дел. Если сказать — 4 недели, а будет 6, то наша победа в конечном счете будет все же поражением. Министерство иностранных дел также в недостаточной мере соблюдает военные тайны. Против болтунов я велю вмешаться гестапо».

Геббельс дает распоряжение поэтам — срочно сочинить песню о русском походе, но песня все никак не удается, к его досаде и негодованию. Наконец: «Новая песня о России готова. Совместный труд Анаккер, Тислер и Колбе, который я сейчас сопоставляю и перерабатываю. После этого он будет неузнаваем, — с обычным самодовольством записывает он. — Великолепная песня».

«Великолепной» — иного нет теперь у него определения — стала кинохроника войны, которой он занимается.

«Теперь работать — одно удовольствие».

«Я не хочу, чтобы это было когда-либо иначе».

С цинизмом карьериста, для которого все, в том числе и война, — лишь средство для осуществления карьеры, он отмечает: «Крайне интересное ознакомление с мастерской ведения большой войны» (27 июня).

«Каждые полчаса поступают новые известия.

Дикое, возбуждающее время.

Вечером хроника готова. Полноценный кусок. Захватывающая музыка, кадры, текст. Теперь я совершенно удовлетворен. Еще полчаса подремал на террасе» (4 июля).

«Темп в Берлине почти захватывает дыхание. В эти дни приходится прямо-таки выкрадывать для себя время. Но я желал для себя такой жизни, и она действительно красива».

Как ни захлебывается Геббельс результатами внезапного нападения, новая, неожиданная нота появляется в его записях.

Сначала она звучит недоуменно. «Противник сражается хорошо» — это фиксирует он уже 24 июня (как всегда, пишет о прошедшем дне). Он обдумывает это новое обстоятельство с намерением извлечь из него выгоду:

«Русские защищаются мужественно. Отступлений нет. Это хорошо. Тем скорее оно будет впоследствии. Они теряют бесчисленное количество танков и самолетов. Это является предпосылкой к победе».

«Москва, по нашим данным, имеет еще в своем распоряжении около 2000 боеспособных самолетов, но большевики продолжают биться упорно и ожесточенно.

Хотят во что бы то ни стало удержать Ленинград и Москву и подтягивают для этого большое количество соединений, не обращая внимания на опасность в оперативном отношении. Это для нас только приятно. Чем больше в этом районе будет войск, тем лучше наша позиция».

Но все беспокойнее эта нота: Южный фронт «отчаянно сопротивляется и имеет хорошее командование. Положение не угрожающее, но у нас по горло дел».

В фашистской доктрине о слабости Красной Армии возникает брешь. Брешь и в психологическом состоянии Геббельса. Игрок, он наглеет с каждым выигрышем и сникает, впадает в уныние, депрессию, наталкиваясь на сопротивление, на неудачи. Но всего лишь первые дни войны на Востоке — эта тетрадь заканчивается 8 июля[1] — фашистская армия еще не испытала первых поражений... Все же призрак неудачи явственно присутствует в этих записях...

Сначала Геббельс пытается записывать о событиях на Востоке, как еще об одном театре войны, — эпически. Как сообщал до сих пор ежедневно о боевых действиях против Англии и переходил на другое. Но из этого ничего не получается. События сминают.

«Усиленное и отчаянное сопротивление противника... Армейская группа «Юг», сообщения о том, что близ Дубнова отражена попытка вражеского

[1] В этот день, 8 июля 1941 года, Гитлер подписал приказ: «Москву и Ленинград сровнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в течение зимы...»

прорыва... Под Белостоком отчаянные попытки прорыва... Один красный полк прорвался...» «У русских колоссальные потери в танках и самолетах, но они еще хорошо дерутся и, начиная с воскресенья, уже многому подучились» (27 июня). «Русские защищаются отчаянно. Русская танковая дивизия прорывает наши танковые позиции».

Тут уместно пересказать эпизод, который приводит в своей рукописи начальник личной охраны Гитлера — Раттенхубер.

Самолет с находившимся на борту офицером германских вооруженных сил, пролетая над Бельгией, потерпел аварию. Уцелевший офицер был задержан бельгийцами. При нем оказался секретный пакет с планами вторжения немецких войск во Францию через Голландию, Бельгию, Люксембург.

Бельгийцы, пишет Раттенхубер, ознакомившись с этими планами, почтительно отправили немецкого офицера в Германию вместе с его пакетом.

Этот эпизод, с удовольствием обсуждавшийся в ставке Гитлера, передает дух той «странной войны» на Западе, когда немецкая армия триумфальным маршем шествовала по Европе.

Так было тогда, а теперь иная война, по-иному приходится оплачивать свое вторжение. «Русские сопротивляются сильнее, чем предполагалось вначале. Наши потери в людях и материальной части значительны» (1 июля).

Он пытается найти объяснение этому «казусу»: «Их союзником является пока еще славянское упорство, но и оно в один прекрасный день исчезнет!»

Его бросает от одного заключения к другому,

прямо противоположному: «Кажется, что сопротивление красных сломлено по всему фронту. Большевизм в настоящее время переживает тягчайший духовный и организационный кризис. Мы предпринимаем все, чтобы его усилить и ускорить».

Но тут же: «В общем, происходят очень тяжелые и ожесточенные бои. О «прогулке» не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует применения всех усилий.

Русские торжествуют в своих сводках. Немного громко и слишком рано. Мы выступаем против этого. Лондон помогает им расфуфыренными описаниями сражений, но мы это уже знаем из нашего похода на Запад. Это цветочки, а ягодки впереди. В США становятся все наглее. Нокс произносит дерзкую речь с требованием немедленного вступления в войну» (2 июля).

«Мы применяем также испробованные во время западного похода более сильные средства нашей пропаганды, например распространение паники и другие» (4 июля).

Еще один вид провокации:

«Мы работаем тремя секретными передатчиками, направленными против России. Тенденции: первый передатчик — троцкистский, второй — сепаратистский и третий — национально-русский» (30 июня).

«Работа наших секретных передатчиков — образец хитрости и изощренности» (5 июля).

Но советская пропаганда чрезвычайно беспо-

коит его: до сих пор немецким солдатам не приходилось быть объектом пропаганды противника. «Большевики не из трусливых. Москва имеет более сильные радиостанции» (27 июня).

И в самой Германии у Геббельса много хлопот: строго пресечь слушание заграничных передач. С помощью фюрера наложить запрет на всех русских писателей и композиторов.

Нет мира и среди нацистских главарей:

«Небольшой скандал в ОКВ продолжается. Вечно об одном и том же: о компетентности. Теперь к этому прибавляется еще Розенберг, который себя чувствует уже царем России.

Если мы когда-либо споткнемся, то по вопросу наших конфликтов о компетентности» (29 июня).

«Розенберг намеревается организовать свою лавочку пропаганды один... Каждый хочет заниматься пропагандой, и чем меньше он в ней понимает, тем больше хочет».

Так кончился временный альянс его с Розенбергом. Устанавливается привычная атмосфера подсиживания, злобной ревности, доносов.

Война не разрешила жгучих вопросов, не принесла ожидаемой разрядки: на Балканах «царит настоящий голод. В особенности в Греции. В Италии высказывают большое недовольство. Муссолини действует недостаточно энергично. В Румынии симпатии к нам довольно уменьшились. Заботы, куда ни посмотришь».

«Во Франции и Бельгии царит почти что голод. Поэтому настроение там соответственное».

Но никакие заботы, никакие войны, никакие невзгоды немецкого народа не мешают его личному благоустройству и обогащению. Помимо

только что отстроенного замка в Шваненвердере, где Геббельс теперь частенько обитает, комплекса домов в Ланке, куда он также выезжает из Берлина, и других его загородных владений, в дни войны «строится новый норвежский домик. Он будет стоять на весьма идиллическом месте». «Осмотрел наш новый блокгауз, который очень красив. Блокгауз расположен в лесу и приспособлен для мирного периода, который, конечно, придет».

Для этого нужна лишь малость — одолеть русских.

«Мы должны действовать быстро, и операция на Восточном фронте не должна затянуться слишком надолго. Об этом позаботится фюрер».

Те же слова и заверения, но какая-то подточенность. Геббельс с яростью записывает в конце этой тетради:

«Англичане пытаются предпринять теперь все, чтобы использовать отсрочку своей казни. Но она, надо надеяться, не заставит себя ждать».

«Смоленск сильно бомбардируется. Все ближе к Москве».

«Мы не успокоимся, пока не добьемся падения красных... Это нам удалось в 1933 году. Удастся и теперь...

Капитуляция! Таков лозунг».

БЫЛ ВЕЧЕР 2 МАЯ 1945 ГОДА

Война пришла в Берлин. Капитуляция! — не лозунг, живая реальность.

Был вечер 2 мая. Уже несколько часов, как гарнизон Берлина прекратил сопротивление. Сда-

ча оружия, начатая в три часа дня, еще продолжалась. Площадь возле ратуши была загромождена сваленными автоматами, винтовками, пулеметами. На улицах — брошенные немецкие орудия с уткнувшимися в землю стволами. Моросил дождь.

Под триумфальной аркой Бранденбургских ворот, над которыми развевался красный флаг, брели разбитые на Волге, на Днепре, на Дунае, Висле и Одере германские части. У многих солдат на головах нелепые теперь каски. Шли измученные, обманутые, с почерневшими лицами, кто сокрушенно, сгорбившись, кто с явным облегчением, а чаще всего в состоянии полной подавленности и безразличия.

Еще не потушены пожары. Горит Берлин. Дядька-ездовой нахлестывает лошадь, и дымящаяся кухня подпрыгивает, перебираясь через завалы. На врытом в мостовую немецком танке отдыхают бойцы, сидят на башне, на стволах пушек, поют, крутят цигарки. Перекур.

Геббельса вынесли на берлинскую улицу. Черное, обугленное лицо. Нацистская форма — темные шерстяные брюки и светло-коричневый китель — вся в клочьях, в ржавых следах огня. Ветер теребит желтый галстук. Он больше всего мне запомнился, этот полуобгоревший галстук — желтая шелковая петля на черной, обугленной шее, — прихваченный круглым металлическим значком со свастикой.

Вышедший из подвалов народ Берлина смотрит на одного из главных виновников своего бедствия. Его снимают для очередного номера киножурнала и для исторической фильмотеки. Это он зажег первый книжный костер, и пламя этого костра

грозным пожаром разгорелось над Германией. Комиссар обороны Берлина, он подло обрекал на смерть своих сограждан, врал до последнего вздоха: «Армия Венка идет на выручку Берлина!» Вешал солдат и офицеров за то, что они отступают.

Геббельс распорядился после смерти сжечь его дотла. Но наши штурмовые отряды ворвались в рейхсканцелярию. Около Магды Геббельс лежал отвалившийся с обгорелого платья золотой партийный значок с однозначным номером и золотой обгоревший портсигар с факсимиле Гитлера.

Перед смертью Геббельс уничтожил собственных детей. Круг убийства замкнулся. Яд, огонь — испытанные в концлагерях средства...

Акт гласил: «2 мая 1945 года в центре города Берлина, в здании бомбоубежища германской рейхсканцелярии, в нескольких метрах от входных дверей подполковником Клименко, майорами Быстровым и Хазиным в присутствии жителей города Берлина — немцев Ланге Вильгельма, повара рейхсканцелярии, и Шнейдера Карла, техника гаража рейхсканцелярии, — в 17.00 часов были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, причем труп мужчины низкого роста, ступень правой ноги в полусогнутом состоянии (колченогий), с обгоревшим металлическим протезом, остатки обгоревшего мундира формы партии НСДАП, золотой значок, обгоревший...»

Пистолет системы «вальтер», найденный возле них, использован не был.

Подполковник Клименко — человек тогда еще молодой, тридцати одного года, кадровый военный. Майора Хазина я не знала. Майор Быстров — био-

лог, кандидат наук, жил в Сибири, его в армию привела война.

Долгие годы войны мы шли по разоренным, сожженным землям Калининской области, Смоленщины Белоруссии, Польши.

Мы видели геббельсовскую пропаганду в действии: дикое опустошение земли, лагеря смерти, рвы с замученными людьми, «новую цивилизацию», когда человек человеку — палач.

Дорога войны привела нас в имперскую канцелярию.

Теперь, спустя много лет, меня иногда спрашивают: не страшно ли было глядеть на этих мертвецов? Было другое: чувство содрогания, но страшно не было. И не потому лишь, что много страшного мы видели за четыре года войны, но, скорее, потому, что эти обгоревшие останки, казалось, не человечьи — сатанинские.

Но мертвые дети — это страшно. Чьи бы они ни были.

Они лежали на койках, укрытые одеялами, — шестеро детей: пять девочек и один мальчик, умерщвленные своими родителями.

Может быть, в таком страшном облике является Возмездие?

— Чьи это дети? — спросил Быстров у вице-адмирала Фосса.

Он только что доставил его сюда в подземелье. Фосс имел задание — добраться к гросс-адмиралу Деницу, чтобы передать ему завещанную Гитлером верховную власть и приказ: продолжать войну во что бы то ни стало. О капитуляции не может быть и речи!

Вместе с остатками бригады Монке, охранявшей рейхсканцелярию, Фосс пытался прорваться из окружения в районе Фридрихштрассе, но был взят в плен.

Быстров вез по улицам капитулировавшего Берлина вице-адмирала Фосса, представителя военно-морских сил в ставке Гитлера. Навстречу брели понурые колонны пленных.

Фосс неотрывно смотрел в стекло машины. Страшные, дымящиеся развалины. Толпа берлинцев у походной кухни, где русский повар раздает горячий суп... Развороченные баррикады, через которые карабкалась машина и ползла дальше по узким тропкам, выбитым на заваленных обломками, щебнем, мусором улицах...

— Вы знали этих детей? — спросил майор Быстров.

Фосс кивнул утвердительно и, спросив разрешения, изнуренно опустился на стул.

— Я их видел еще вчера. Это Гайди, — он указал на самую младшую девочку.

Перед тем как прийти сюда, он опознал Геббельса и его жену. Геббельс со свитой корреспондентов приезжал летом 1942 года на тяжелый крейсер «Принц Ойген», которым командовал Фосс. Геббельсу он обязан своим выдвижением. Загнанные событиями в подземелье, они встретились здесь как старые знакомые.

Майор Быстров и Фосс вдвоем находились в этой сырой, страшной комнате подземелья, где под одеялами лежали дети.

Фосс был потрясен, опустошен, сидел поникнув, сгорбившись. Молчали. Каждый думал о своем.

Детей обнаружил в одной из комнат подземелья старший лейтенант Ильин 3 мая.

Они лежали, одетые в длинные ночные сорочки или пижамы, сшитые почти для всех шестерых из белой фланели в тоненькую синюю полоску. Лица их покрылись темным румянцем — это действие цианистого калия.

В госпитале имперской канцелярии среди медицинского персонала нашелся врач, причастный к умерщвлению этих детей, Гельмут Кунц. Он работал в санитарном управлении СС Берлина, а 23 апреля, когда санчасть была распущена, его направили в имперскую канцелярию.

Небритый человек с запавшими глазами в эсэсовской форме говорил прерывисто, вздыхал, сплетал и расплетал пальцы рук. Он был, пожалуй, единственный тут, в подземелье, кто не утратил впечатлительности, нервного отношения ко всему, чему был свидетелем. Он рассказал Быстрову:

«27 апреля перед ужином, в 8—9 часов вечера, я встретил жену Геббельса в коридоре у входа в бункер Гитлера, она мне сказала, что хочет обратиться ко мне по одному очень важному поводу. И тут же добавила: сейчас такое положение, что, очевидно, нам с ней придется умертвить ее детей. Я дал свое согласие».

1 мая он по телефону был вызван из госпиталя, находившегося в 500 метрах от «фюрербункера», в кабинет Геббельса. Здесь ему объяснили цель его вызова. Врач посоветовал Геббельсу отдать детей и жену под защиту Красного Креста, а самому отравиться. Геббельс возразил: «Это бесполезно, ведь все-таки они дети Геббельса».

Кунц впрыснул шестерым детям морфий. «После чего я снова вышел в переднюю комнату и сказал фрау Геббельс, что нужно обождать минут десять, пока дети заснут, и одновременно я посмотрел на часы — было 20.40».

Поскольку Кунц сказал ей, что у него едва ли найдутся душевные силы, чтобы помочь дать уснувшим детям яд, Магда Геббельс попросила его найти и послать к ней Штумпфеггера, личного врача Гитлера. Вместе с Штумпфеггером она разжимала рот усыпленным детям, клала ампулу с ядом на зубы и сдавливала челюсти. Штумпфеггер ушел, а Кунц спустился вместе с женой Геббельса в его кабинет. Геббельс в крайне нервозном состоянии расхаживал по комнате. «С детьми все кончено, теперь нам нужно подумать о себе», — сказала ему жена. Он заторопился: «Скорей же, у нас мало времени».

Кунц вернулся в госпиталь.

Морфий и шприц, жена Геббельса говорила ему, она получила от Штумпфеггера. А откуда у нее ампулы с ядом, он не знал.

Они могли быть вручены ей Гитлером, он раздавал эти ампулы в конце апреля, как мы узнали позже.

Вице-адмирал Фосс, доктор Кунц, повар Ланге, техник гаража Шнейдер, начальник личной охраны Геббельса Эккольд, инженер Цим, технический администратор здания имперской канцелярии, и многие другие опознали Геббельса. Хотя он обгорел, но узнать его мог каждый, кто встречался с ним или хотя бы наблюдал его издали. Его можно было узнать даже по карикатурам в

нашей печати. У него характерная внешность. Голова непропорционально большая для его тщедушной фигуры и заметно сплющенная с боков. Он хромал на правую ногу, она была короче левой и вывернута стопой внутрь. Правая нога не пострадала от огня, на ней сохранился ортопедический ботинок с утолщенной подошвой и протез.

«При исследовании трупа установлено наличие запаха горького миндаля и обнаружены кусочки ампулы во рту», — записано в медицинском акте.

Когда были получены данные химического анализа, было вынесено окончательное суждение:

«Химическим исследованием внутренних органов и крови определено наличие цианистых соединений. Таким образом, необходимо сделать вывод, что смерть... наступила в результате отравления цианистыми соединениями».

Не помню, чтоб нам тогда удалось установить, кто сжигал его. Было ясно, что делалось это в крайней спешке и исполнители разбежались, не справившись со своей задачей.

НОЧЛЕГ

Поздно ночью 3 мая в поисках ночлега мы оказались на окраине Берлина, в Бисдорфе.

Когда мы шли по темной, глухой улице, я вдруг услышала свист соловья.

Сейчас, когда пишу об этом, мне трудно объяснить, чем он тогда так поразил меня. Казалось, здесь, в Берлине, не только все живое, но даже камни вовлечены в войну, подчиняются ее законам.

А тут вдруг — соловей, несмотря ни на что, нерушимо выполняет свое соловьиное дело.

После всего, что тут было, на затихшей берлинской улице свист соловья был удивительной вестью о живой жизни.

Мы попали в какой-то дом и поднялись по темной лестнице. Постучались. С чувством скованности вошли в квартиру людей, только что переживших катастрофу падения города. Это была среднего достатка квартира. Хозяева ее, пожилые супруги в стеганых халатах, потревоженные нашим неожиданным приходом, предоставили нам две комнаты, а сами, видимо, долго не могли заснуть: тихие шаги их доносились из коридора. Я легла на диван, и позабытые в войну душные запахи нафталина и лаврового листа обступили меня.

Четыре года... Когда война началась, я была студенткой литературного института.

В оставшемся незавешенным окне был виден кусок розового неба — это зарево стихающих пожаров. Удивительная после дней беспрерывных боев тишина была благодатью, от которой с непривычки цепенело сердце. Сквозь напряжение этих дней пронзительно пробилась мысль: «Мы в Берлине» — и отшибла сон.

Было довольно светло. Со стены напротив выступили оленьи рога. Потом я разглядела на столе свежесрезанные цветы в вазе, в клетке — маленького попугая. Он проснулся, поскакал по игрушечной лесенке и принялся раскачиваться на качелях.

Подсвечивая карманным фонариком, я прочла на стене в рамке:

«Himmel, bewahr uns von Regen und Wind
und von Kameraden, die keine sind»[1].

Стена была увешана фотографиями мальчика: вот он вскарабкался на деревянную лошадь, вот лежит на пляже, примостив голову на вытянутые ноги девушки в полосатом купальнике. Вот он уже военный, стоит в новой, ловко пригнанной форме, в руке у него тяжелая полевая каска. А вот он на групповой фотографии в веселой компании военных. В центре снимка — бутылка. Кто-то воздел каску на штык. Подписано: «Prosit!» («На здоровье!»)

А на письменном столе под стеклом грустное извещение о том, что Курт Бремер пропал без вести на Восточном фронте.

В поисках воды я забрела на кухню. У окна сидела хозяйка. На коленях у нее лежал мешочек с носками, штопать их она начала еще при Гитлере и сейчас, довольствуясь слабым светом наступающего дня, привычно продолжала свою работу.

На кухонной полке выстроились пивные кружки, и во главе этой шеренги фаянсовая тетушка — из тех веселых безделушек, что дарят на свадьбу, — протягивала позолоченный сапожок, предлагая из него напиться.

Я спросила у хозяйки, чья это лавка внизу в их доме (мы заметили ее, когда ночью поднимались в квартиру) и давно ли она заколочена.

Хозяйка ответила, что эта москательная лавка принадлежит ее мужу и ей и что они закрыли ее два месяца назад.

---

[1] «Небо, храни нас от непогоды и от неверных друзей».

— Мы нажили ее честным трудом. О, она не так-то легко досталась нам. А теперь вот... — Она тихонько вздохнула. — Geschäft macht kein Spaß mehr[1].

Утром хозяин квартиры спросил меня, как я полагаю, сможет ли он пройти сегодня на такую-то улицу к своему зубному врачу. Я ответила утвердительно, — война войной, а человека вот доняли зубы. Он возразил, что не испытывает зубной боли, но еще две недели назад условился быть сегодня у врача.

Свежие цветы в вазе, срезанные в огороде на другой день после падения города, визит к зубному врачу на третий день.

Что это? Себялюбивое тяготение к равновесию, прочности, размеренности? Не было ли оно союзником Гитлера при захвате им власти?

Из окна было видно — на перекрестке регулировала движение знакомая девчонка. Взмахивая флажками, она пропускала машины, успевая вскинуть ладонь к виску, а у военнослужащих, приспособивших для передвижения трофейные велосипеды, отбирала их — таков был приказ командующего фронтом. Уже целая гора велосипедов выросла возле нее на тротуаре.

Напротив из парадного боец выталкивал бочонок. Обмакнув в него толстую кисть на короткой палке, низко присев на корточки, он замазывал огромные буквы геббельсовских заклинаний, распластанные на мостовой: «Berlin bleibt deutsch» («Берлин останется немецким»).

---

[1] Торговля не доставляет больше никакого удовольствия.

По этой же мостовой двигалась недавно на восток моторизованная немецкая пехота...

Кто-то постучался в квартиру. Вошел мужчина в коротком пальто, в темной кепке. Он узнал, что здесь русские, и просил разрешения поговорить со старшим из нас. Сняв кепку, он нервно изложил суть дела: вчера, когда наши части вступили в Берлин, он выбежал им навстречу вместе с женой (он показал рукой на дверь, за которой на площадке лестницы поджидала его беременная жена).

— Мы бросились к русским, чтобы обнять их, но ваши солдаты оттолкнули нас.

Его жена вошла и стояла рядом с ним, такая же бледная, как и он. Застегнутое на все пуговицы, ее серое пальто было сильно вздернуто на большом животе. Мужчина говорил сурово о том, как ждал этого дня избавления от Гитлера, надеялся, и вот такая встреча немецкого рабочего с Красной Армией. Голос его был разогрет обидой и решимостью высказаться. Жена молча поддерживала его, кивая головой.

Мы были взволнованы и глухи одновременно. Как хотели мы верить в начале войны, что неразорвавшиеся бомбы, сброшенные на Москву, — это дело рук немецких товарищей, как искали любое подтверждение их солидарности с нами и потом постепенно разуверились, ожесточились. И сейчас мы не могли обнять этого человека.

Я вспоминала полученное вчера на имя Куркова письмо с Урала. Мы прочли его. Жена Куркова писала, что слышала по радио о боях в Берлине и думала, какие это герои бьются так далеко от дома насмерть с врагом в его главном городе,

и теперь, значит, недолго ждать победы. «Сообщаю, — писала она, — пришел домой Гоньша, Рагозин и Попов — ранены. Коля, я ходила на мельницу, шла мимо Рагозина. Рагозин сидит, на гармошке играет, и мне очень обидно. Коля, хотя бы мне увидеть вас, хоть одним глазком. Очень я соскучилась об вас и соскучились мои дети. Пока до свидания. Остаемся живы, здоровы, того и вам желаем. Целуем мы вас 999 раз, еще бы раз, да далеко от вас».

Полковник сказал:

— Переведите Губеру, — немца звали Густав Губер, — их профсоюзный фюрер Лей заявил, что германский рабочий — это не просто рабочий, это человек-господин и что у него самочувствие такое. Спросите, верно это?

Губер упрямо мотнул головой:

— Немецкий рабочий такой же пролетарий.

НИЧЕГО ДОСТОВЕРНОГО

4 мая, раннее утро. Над Александерплац поднимается зарозовевшая дымка тумана. Зябко. Посреди площади — табор: остатки разбитого Берлинского гарнизона. Спят на мостовой, завернувшись в солдатские одеяла. Кое-кто уже проснулся, сидит, кутаясь в одеяло с головой. Медсестры в темных жакетах и белых платочках обходят раненых.

По сторонам площади — руины. Разверзшиеся стены домов. Осыпается каменная труха.

Громыхает по брусчатке груженная узлами тележка, ее упорно толкают две женщины, дол-

жно быть возвращаются из-под Берлина. Грохот тележки настойчиво врывается в оцепенение руин, развала.

Мы снова в имперской канцелярии.

Кто последним видел Гитлера? Кто вообще видел тут, в подземелье, живого Гитлера? Что известно о его судьбе?

Техник гаража Карл Фридрих Вильгельм Шнейдер:

«Находился ли вообще Гитлер в Берлине до 1 мая 1945 года, мне неизвестно. И лично его тут не видел».

Но 1 мая в подземном гараже имперской канцелярии, как он уже говорил, он слышал о самоубийстве Гитлера от его шофера, Эриха Кемпки, и от начальника гаража. «Эта весть передавалась из уст в уста, все говорили, но никто точно не знал». Сопоставляя эту весть с приказанием, которое он получил из секретариата Гитлера относительно доставки бензина к «фюрербункеру», он сделал предположение, для какой надобности затребовали бензин.

Пятидесятилетний человек, представившийся официально: шеф-повар на кухне домашнего интендантства фюрера при имперской канцелярии Вильгельм Ланге:

«В последний раз я видел Гитлера в первых числах апреля 1945 года в саду имперской канцелярии, где он прогуливался со своей собакой из породы немецких овчарок по кличке Блонди».

Что вам известно о судьбе Гитлера?

«Ничего достоверного.

Вечером 30 апреля ко мне на кухню пришел собаковод Гитлера — фельдфебель Тарнов за едой для щенков. Он был чем-то расстроен и сказал мне: «Фюрер умер, и от его трупа ничего не осталось». Среди служащих имперской канцелярии ходили слухи, что Гитлер отравился или застрелился, а труп его был сожжен. Так ли это было на самом деле, я не знаю».

Технический администратор здания имперской канцелярии Вильгельм Цим:

«В последний раз я видел Гитлера в 12 часов дня 29 апреля. Меня вызвали в бункер фюрера наладить испортившийся механизм вентилятора. Работая, я в открытую дверь кабинета увидел Гитлера».

Что вам известно о судьбе Гитлера?

«30 апреля в 6 часов рабочие Верника, канализатор, и Гюннер, электрик, возвратившись с работы из бункера фюрера, рассказали, что они слышали, будто Гитлер умер. Больше никаких подробностей они не сообщили».

Вице-адмирал Ганс Эрих Фосс участвовал в совещаниях, проходивших в присутствии Гитлера здесь в убежище. О смерти Гитлера услышал от Геббельса.

Вот и все, что мы знали к утру 4 мая.

«Ничего достоверного», как сказал бы шеф-повар Ланге. Но и эти сведения приходилось выгребать из вороха других, противоречивых, сенсационных. Чего только не говорилось! Что Гитлер улетел на самолете с летчицей Рейч за три дня до падения Берлина, а его смерть инсценирована. Что Гитлера вывели из Берлина подземными хо-

дами и он скрывается в «неприступной» Южнотирольской крепости.

Люди, обладавшие более скромными и существенными сведениями, были так измучены, ошеломлены всем пережитым, что путали даты и факты, хотя то, о чем они рассказывали, происходило всего лишь позавчера или еще на день раньше.

То тут, то там вскипали и лопались версии, одна хлестче другой. Появлялись слухи о «двойниках».

Чтобы исключить очередную версию, требовалось время, отвлекались люди.

Розыски шли в напряженнейшем темпе. Легко было сбиться, пойти по неверному следу, прийти к ложным выводам. Упустить время.

Осложнения, порой нелепые, мешали поискам.

3 мая на территории имперской канцелярии появилась группа генералов штаба фронта. Проходя по саду мимо бетонированного котлована, на дно которого немцы складывали убитых во время бомбардировки и обстрела рейхсканцелярии, один из генералов ткнул указательным пальцем: «Вот он!» В кителе, с усиками, убитый издали слегка смахивал на Гитлера. Его извлекли из котлована и хотя тут же убедились: не он — все же началось расследование. Призвали опознавателей, в один голос заявивших: «Нет, не он». Все же этот убитый мужчина с усиками, в сером кителе и заштопанных носках лежал в актовом зале рейхсканцелярии до тех пор, пока прилетевший из Москвы бывший советник нашего посольства в Берлине, видевший неоднократно живого Гитлера, подтвердил: не он.

Но этот неизвестный успел породить среди

журналистов легенду о «двойниках», которая нет-нет да и мелькнет где-то и по сей день. О нем писали. Его снимали кинооператоры и охотно выдавали за Гитлера. И в недавние времена случались курьезы, когда извлеченные из фильмотеки кадры с тщеславной пометкой оператора — «Гитлер», безмятежно включались в монтаж, и сенсации сотрясали зарубежную печать.

Тогда, в первые дни мая 1945 года, в Берлине, в очень сложных условиях, надо было объединить усилия разведчиков, оперативно разобраться во всем, отсечь все лишние версии и наметить путь поисков. Возглавил эту работу полковник Василий Иванович Горбушин.

Снова и снова метр за метром мы просматривали опустевшее подземелье под имперской канцелярией. Перевернутые столы, разбитые пишущие машинки, стекло и бумага под ногами. Клетушки и комнаты побольше, длинные коридоры и переходы. Повреждения в бетонных стенах, и кое-где в коридорах лужи воды. Сырой, тяжелый воздух — вентиляторы, скверно работавшие при Гитлере, теперь вовсе не действовали. Дышать было трудно. Мрак... Повсюду за углами — шорохи, шевеление или тишина, грозящая разрядиться выстрелом отчаявшегося гитлеровского офицера.

Скрежет шагов по разбитому стеклу, гулкие вздохи — это бродят тут в потемках по последней резиденции германского правительства бойцы, штурмовавшие рейхсканцелярию, натыкаясь на ящики с дорогими ликерами, перекликаясь, как в

лесу, подсвечивая фонариками причудливые декорации последних часов третьей империи. Иногда мы слышали щелканье затворов и несущуюся в темноте на звук наших шагов угрозу: «Хенде хох!» — с российским «х» вместо немецкого «h».

Сложная, пестрая была обстановка. Наверху, на земле Берлина, уже кончилась война. Здесь шли поиски в хаосе подземелья. Люди, которым это было поручено, искали неустанно, преданно, чувствуя огромную ответственность, — четыре года войны стояли за плечами.

Надо было ориентироваться в сложной на первых порах топографии подземелья, обнаружить тайники, проверить их. Надо было найти.

Уже был найден во дворе генерал Кребс, в серо-зеленом кителе с оторванными погонами. Он тоже отравился.

А о конце Гитлера все еще не было установлено ничего достоверного.

Если признать за исходное свидетельство вице-адмирала Фосса, знавшего о смерти Гитлера от Геббельса, которому он передал власть рейхсканцлера, если согласиться с соображениями техника гаража Шнейдера относительно того, зачем понадобился бензин, то в этой цепи недоставало звена — лица, принимавшего участие в сожжении. Или видевшего, как и где оно происходило, или хотя бы слышавшего об этом подробности.

Сад имперской канцелярии, как выяснилось позже — место действия этой мистерии, — был так покорежен, что отыскать безошибочно, где тут сжигали, — я уже писала об этом — едва ли было возможно.

А слухи тем временем роились. Кто-то слышал

от кого-то, что Гитлер сожжен дотла и пепел унес рейхсфюрер молодежи Аксман, участвовавший в прорыве с группой Монке; след его в те дни для нас затерялся.

Если Гитлер сгорел дотла — не являются ли тому подтверждением слова собаковода Тарнова, сказанные им повару Ланге: «Фюрер умер, и от его трупа ничего не осталось»? Если это так, если останков нет или они не будут найдены, значит, мы никогда не сможем представить миру неопровержимые доказательства его конца. Исчезновение Гитлера останется тайной, которая будет служить почвой для произрастания всяческих мифов. В этом могут быть заинтересованы только его приверженцы.

Сопоставляются полученные сведения. Разыскиваются люди, которые могут уточнить обстоятельства.

А народ валит и валит сюда, бойцы и командиры, штабные офицеры и люди, прилетевшие из Москвы, и корреспонденты, от которых необходимо оградиться. Обходят апартаменты рейхсканцелярии, спускаются в подземелье, ищут комнаты Гитлера. В знак своей прикосновенности к истории уносят то одно, то другое. Всем хочется побывать тут, у всех есть на это права. Но еще не пришло время экскурсий.

Идут поиски — под землей, в саду, в наземном здании и прилегающих участках улицы.

Утром 4 мая передо мной сидел тихий, домашний и совершенно цивильный человек — маленький истопник, которого никто в рейхсканцелярии не замечал.

Уже раньше он говорил о том, что, находясь в коридоре, видел, как из комнат Гитлера вынесли завернутых в серые одеяла фюрера и Еву Браун, она была в черном платье.

Он ни на чем не настаивал, он просто видел. В хоре голосов более громких, уверенных голос истины расслышан не был. Сам же истопник был так непритязателен, скромен, что его трудно было соотнести с масштабом этих событий.

Куда более подходил для этого вице-адмирал Фосс, но он не располагал точным свидетельством.

Истопник был первым немцем, от которого я услышала о свадьбе Гитлера. Тогда, в едва отпылавшем боями и пожарами Берлине, это показалось мне фантасмагорией. Я взглянула на скромного, неказистого человека, буднично перебирающего в памяти причудливые картины трех-четырехдневной давности, словно речь шла о чем-то бесконечно далеком. В самом деле, сейчас происходила не смена суток, а смена эпох.

Фамилия истопника мне не запомнилась. Он высунулся из фолианта истории, как безымянная закладка, указав на нужную страницу. Но, недоверчивые, невнимательные люди, мы не удосужились как следует прочитать ее.

Доктор Кунц был взбудоражен, не мог отринуть пережитое. В имперскую канцелярию он попал почти случайно и был травмирован своим участием в умерщвлении детей. В первый день все, что он говорил, вертелось вокруг только этого факта. Но 4 мая он, вздыхая, всполошенно вскакивая, путая даты, вразброд припоминал разные подробности последних дней.

В подтверждение того, что свадьба Гитлера и

Евы Браун имела место, он привел такой штрих: при нем Браун рассказала профессору Хаазе, начальнику госпиталя рейхсканцелярии, что дети Геббельса обратились к ней в тот день, как обычно: «Tante Braun» — «тетя Браун», она же их поправила: «Tante Hitler» — «тетя Гитлер».

Потом он припоминал, как вечером сидел в казино, что над бункером фюрера, в обществе профессора Хаазе и двух секретарш Гитлера — фрау Юнге и фрау Христиан, а появившаяся в казино Ева Браун пригласила их, четверых, в одну из комнат казино, куда им подали кофе. Браун рассказала им, что фюрер написал завещание, и оно переправлено из Берлина, и теперь фюрер ждет подтверждения, что оно доставлено по назначению, и тогда лишь умрет. Она сказала: «Нас все предали — и Геринг и Гиммлер». И еще: «Умереть будет не так трудно, потому что яд уже испытан на собаке».

При этом доктор Кунц был уверен, что этот разговор в казино состоялся 30 апреля вечером, тогда как по другим сведениям к этому времени Гитлера уже не было в живых.

Словом, на каждом шагу мы наталкивались на противоречия. Но нельзя было пройти мимо одного, случайно сделанного заявления доктора Кунца. Он сказал, что жена Геббельса, поведавшая ему о самоубийстве Гитлера, ничего определенного не добавила относительно того, как покончил с собой Гитлер. «Ходили слухи, — сказал доктор Кунц, — что труп его должен был быть сожжен в саду имперской канцелярии».

«От кого именно вы слышали об этом?» — спросил полковник Горбушин.

«Я слышал это от Раттенхубера, СС обергруппенфюрера, он был ответствен за безопасность в ставке фюрера. Он сказал: «Фюрер оставил нас одних, а теперь мы должны тащить его труп наверх».

В тот день, 4 мая, у нас не было более авторитетного указания, чем это: от начальника личной охраны Гитлера — через доктора Кунца.

Снова, как в первый день, сад имперской канцелярии — главное место поисков.

ДОКУМЕНТЫ, НАЙДЕННЫЕ В „ФЮРЕРБУНКЕРЕ" И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Я завалена документами.

Донесения с мест боев. Приказы, исходившие с командного пункта бригады Монке, охранявшей имперскую канцелярию. Радиограммы.

В комнатах Геббельса, кроме его дневников, обнаружено несколько сценариев, присланных ему авторами. Огромная книга — юбилейный подарок партийных соратников к его сорокалетию; в ней фотолисты, воспроизводящие страницу за страницей рукопись Геббельса «Малая азбука национал-социализма».

Работать в самом подземелье было трудно, и я много часов провела за разбором документов в одном из залов имперской канцелярии. Кажется, это был зал ожидания выхода Гитлера или какой-то еще. Точно не знаю — в топографии рейхсканцелярии я плохо разбиралась. Здесь все было перевернуто. Может быть, тут происходили последние схватки с эсэсовской охраной. И здесь прошла армия, у которой не было оснований

почтительно обращаться с инвентарем в апартаментах главного штаба нацизма.

Столы повалены, разбиты плафоны, опрокинуты кресла со вспоротыми сиденьями. Осколки оконного стекла повсюду. Запомнился парадный пол этого зала, сплошь обитый велюром сероватого тона, продавленный и истертый красноармейскими подошвами. Сюда разведчики тащили мешки с документами и вываливали их на парадный пол.

В комнатах Геббельса было еще найдено в чемодане несколько папок — личные бумаги Магды Геббельс.

Что же она взяла с собой, переезжая в подземелье 22 апреля с улицы Германа Геринга?

Здесь были описи имущества в загородном доме в Ланке. И в замке Шваненвердер, выстроенном к началу войны с Советским Союзом. Оттуда Геббельс намеревался управлять своими сатанинскими камарильями пропагандистов.

Сплошная инвентаризация: гарнитуры, горки с серебром, сервизами и статуэтками. Учтено все: каждая пепельница, каждая диванная подушка в бесчисленных комнатах, каждый носовой платок доктора Геббельса и его место в бельевом шкафу, каждый крюк для туалетной бумаги в уборных. И так из комнаты в комнату, в главном здании и во флигелях. Спальни, кабинеты, спальни детей, адъютантов, комнаты гостей, залы, холлы, лестницы, коридоры, террасы, комнаты прислуги, кинозалы. Опись гардероба Геббельса. 87 бутылок различных вин.

Здесь были счета, во что обошлась меблировка замка, о котором с восторгом отзывается в дневнике Геббельс. И разные счета с 1939 года на имя Магды Геббельс из универсальных магазинов.

Опись гардероба детей, каждого персонально. Перечислены все платья, пальто, шапки, обувь, лыжные костюмы, белье. Вещи новые и те, что перешли от самой старшей дочери ко второй по старшинству, от второй — к третьей и т. д. И вещи, которые находятся пока в резерве.

Наградной лист за подписью фюрера — победительнице в олимпийских играх.

Здесь же лежала бумага, заверенная печатью НСДАП и подписью партийного руководителя Берлинского округа, присланная на имя Магды Геббельс. В ней излагались предсказания одного ясновидца. Вот они:

«...Он предсказал еще в апреле 1942 года о высадке десанта союзников в начале июня 1942 года на побережье Франции и что бои будут ожесточенными, но наивысшего напряжения достигнут лишь в августе 1944 года. В середине же июня немцы применят новое воздушное средство, которое будет причинять ужасающие разрушения, особенно в Англии. Это приведет к внутриполитическим осложнениям в Англии и будет тормозить дальнейшее вторжение союзников.

Ожесточеннейшие бои с вторгшимися войсками разгорятся с августа по ноябрь 1944 года, и в начале ноября союзники потерпят самое большое поражение за всю войну...

В апреле 1945 года Германия окажется в состоянии все свои ударные силы перебросить на Восточный фронт, и по истечении пятнадцати месяцев Россия окончательно будет завоевана Германией. Коммунизм будет искоренен, евреи из России будут изгнаны, и Россия распадется на маленькие государства...

Летом 1946 года немецкие подводные лодки будут оснащены новым страшным оружием, с помощью которого в течение августа 1946 года будут уничтожены остатки английского и американского флотов...»

А одна из папок рукой Магды Геббельс надписана: «Herald als Gefangene» («Геральд — пленный»). Это ее старший сын от первого брака. (Четыре года назад Геббельс записал в дневнике: «Магда чрезвычайно счастлива награждением Геральда, которое можно считать совершившимся» (14 июня 1941 г.).) В папке собрано и подшито все, что связано с ним с момента пленения. Первый лист — обстоятельства пленения. Их излагает унтер-офицер в рапорте на имя своего командира; рапорт переслан доктору Геббельсу. Его пасынка видели в последний раз во время боя в африканском населенном пункте. Затем письмо Геральда из американского плена. Пишет, что живет хорошо. Фотография: Геральд на фоне цветочных клумб. Поздравление с «Днем немецкой матери».

В бумагах Бормана нас заинтересовала одна телеграмма. Думаю, что ее содержание и сегодня не утратило интереса:

«22.4.45.

Хуммелю, Оберзальцберг.

С предложенным перемещением за океан на юг согласен.

Рейхсляйтер Борман»[1].

---

[1] «22.4.45

Hummel, Obersalzberg.

Bin mit vorgeschlagener Übersee Süd Vorlagerung einverstanden.

Reichsleiter Bormann».

Что же это означает?

Борман, по-видимому, готовил для себя пристанище далеко за пределами Германии. Удалось ли ему выбраться из Берлина? А Гитлеру?

Возникла атмосфера, картины событий, но прямых указаний на то, что произошло с Гитлером, в бумагах не имелось.

Если бы тогда передо мной лежала записная книжка-дневник Мартина Бормана, как она лежит сейчас, сохраненная в архиве, я прочла бы в последних записях следующее:

«Воскресенье 29 апреля.

Второй день начинается ураганным огнем. В ночь с 28 на 29 апреля иностранная пресса сообщила о предложении Гиммлера капитулировать. Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер диктует свое политическое и личное завещание.

Предатели Йодль, Гиммлер и генералы оставляют нас большевикам!

Опять ураганный огонь!

По сообщению противника, американцы ворвались в Мюнхен!

30.4.45 года.

Адольф Гитлер ⅄.

Ева Г. ⅄».

(Знак, которым немцы обозначают смерть, рождение обозначается знаком Y.)

Если бы мы тогда это прочитали, мы бы имели важное подтверждение: 30 апреля Гитлер мертв. Но этого дневника у нас не было. Он был найден на улице разведчиками соседней армии и к нам не попал. Правда, странные обстоятельства, при

которых был найден этот дневник, наверное, не позволили бы тогда, при предварительном еще изучении дела, слепо довериться ему: он мог быть фальсифицирован, подкинут. Но сейчас с несомненностью можно сказать, что это подлинная записная книжка-дневник Бормана, оброненная им при попытке прорваться из кольца советских войск в группе Монке.

Этот дневник, фиксирующий события иного ряда, все же убийственно напоминает дневники самых тупых немецких фронтовиков, похожие, в свою очередь, один на другой.

Их схожесть между собой и с дневником Бормана отнюдь не признак демократичности, а чего-то другого — того чудовищного единообразия мышления, на которое рассчитывал Гитлер и которое культивировал фашизм.

ДОЛГИЙ ДЕНЬ

4 мая в саду имперской канцелярии были найдены обгоревшие мужчина и женщина — Гитлер и Ева Браун.

Было светло и ветрено. В саду, неподалеку от запасного выхода из бункера Гитлера, кружком стояли красноармейцы Чураков, Олейник, Сероух, подполковник Клименко, старший лейтенант Панасов.

Ветер теребил куски прогоревшей жести, проволоку, обломившиеся ветки деревьев, валявшиеся на газоне.

На сером одеяле, заляпанном комьями земли, лежали покореженные огнем, черные, страшные останки.

В этот день мы ходили по городу — шофер Сергей, несколько бойцов и я с ними. На площади, заваленной битым кирпичом, сгоревшим железом, обугленными рухнувшими деревьями, еще дымилось не остывшее от огня серое здание рейхстага. Над ним — над остовом его купола — высоко в пасмурное небо взвивалось красное знамя.

Обходя воронки и завалы, мы добрались до него. Поднялись по выщербленным ступеням. Оглядели почерневшие от копоти колонны, подержались за стены, посмотрели друг на друга. На ступенях сидя спал солдат, прислонясь забинтованной головой к колонне и прикрыв лицо пилоткой. Усатый гвардеец со скаткой через плечо задумчиво скручивал цигарку. Большие окна нижнего этажа рейхстага были наглухо заколочены деревянными коричневыми щитами. Вдоль и поперек они были исписаны. Сергей достал из кармана огрызок карандаша и под чьей-то размашистой надписью: «Где ты, бесценный друг? Мы в Берлине, у Гитлера» — вывел дрожащими буквами: «Привет сибирякам!»

Мы вошли внутрь, там ходили наши военные, валялись расхлестанные папки бумаг, пахло гарью. Бумаги рейхстага шли на цигарки.

Потом мы двинулись дальше по городу. Тротуары были почти безлюдны. Кое-где группы жителей разбирали завалы, передавая друг другу по кирпичу. Бойцы с красными повязками на рукавах расклеивали приказ коменданта. Строили деревянную арку в честь победы в Берлине; в центре ее устанавливали большую красную звезду, по сторонам украшали союзными флагами.

В расчищенные от завалов проходы ныряли машины. Девчонки-регулировщицы в белых перчатках,

выданных по случаю вступления в столицу Германии, увлеченно, без устали кружившиеся на полицейских пятачках, оживляли берлинские перекрестки.

Невозможно было без волнения смотреть на них. Помнилось, как еще совсем недавно они в обмотках, с винтовками за плечами, несли службу на фронтовых дорогах, продрогшие, охрипшие, требовательные. Попробуй не послушаться ее приказания — ударит из винтовки по скатам.

Прошла пехота, процокала по мостовой железными скобами тяжелых ботинок, придержала движение машин. За командиром части пронесли знамя в чехле.

Возле вывешенных приказов коменданта останавливались жители Берлина, списывали в записные книжки продовольственный рацион.

Мы шли по мосту через Шпрее. На мосту сидела женщина в пальто, закинув голову в небо, вытянув перед собой несгибающиеся ноги, и громко смеялась. Я окликнула ее. Она глянула на меня рассеянными, прозрачными, светло-зелеными глазами, приветливо закивала, точно узнавая меня, и сумасшедшим, гортанным голосом крикнула: «Аллес капут!»

КАК ЭТО БЫЛО

В саду имперской канцелярии один из бойцов подполковника Клименко, Чураков, обратил внимание на воронку от бомбы влево от входа в «фюрербункер», если стоять к нему лицом. Внимание Чуракова привлекло то, что земля в воронке была мягкой, рыхлой, лежал скатившийся сюда невы-

стреленный фаустпатрон и что-то торчало, похожее на край серого одеяла. Спрыгнувший на дно воронки солдат наступил на полуобгоревшие трупы мужчины и женщины, засыпанные слоем земли. Так были обнаружены трупы Гитлера и Евы Браун. Солдат позвал на подмогу товарищей, и они вчетвером извлекли их.

Имена нашедших запечатлены в акте, составленном на следующий день.

«Гор. Берлин. Действующая армия.

АКТ

1945 года, мая месяца «5» дня.

Мной, гв. старшим лейтенантом Панасовым Алексеем Александровичем, и рядовыми Чураковым Иваном Дмитриевичем, Олейник Евгением Степановичем и Сероух Ильей Ефремовичем в г. Берлине, в районе рейхсканцелярии Гитлера, вблизи мест обнаружения трупов Геббельса и его жены, около личного бомбоубежища Гитлера были обнаружены и изъяты два сожженных трупа, один женский, второй мужской.

Трупы сильно обгорели, и без каких-либо дополнительных данных опознать невозможно.

Трупы находились в воронке от бомбы, в 3-х метрах от входа в гитлеровское убежище и засыпаны слоем земли».

Потом перекопали землю в воронке и обнаружили двух мертвых собак — овчарку и щенка.

Составили еще один акт: «...Нами обнаружены и изъяты две умерщвленные собаки.

Приметы собак:

1. Немецкая овчарка (самка) темно-серой

шерсти, большого роста, на шее имеет нашейник из мелкокольцевой цепи. Ран и крови на трупе не обнаружено.

2. Маленького роста (самец), черной шерсти, без нашейника, ранений не имеет, кость верхней половины рта перебита, в области имеется кровь.

Трупы собак находились в воронке от бомбы в 1,5 п/м друг от друга и легко засыпаны землей.

Есть основания полагать, что умерщвление собак произведено 5—6 дней назад, так как зловония от трупов нет и шерсть не облезает.

С целью обнаружения предметов, могущих служить подтверждением, кому принадлежали эти собаки, и причин, послуживших их гибели, нами на месте изъятия трупов собак тщательно перерыта и просмотрена земля, где было обнаружено:

1. Две стеклянные пробирки темного цвета из-под медикаментов.

2. Разрозненные обгорелые листы из книг типографского способа печатания и мелкие клочки бумаги с подлинной рукописью.

3. Металлический медальон круглоэллипсовой формы на тонкой шариковой цепочке длиною 18—20 см, на обратной стороне медальона имеется выгравированная надпись: «Оставь меня навсегда при себе».

4. Немецких денег шестьсот марок купюрой по 100 марок.

5. Металлическая бирка круглоэллипсовой формы 31907...

Капитан Дерябин, гв. старший лейтенант Панасов, сержант Цибочкин, рядовые Алабудин, Кириллов, Коршак, Гуляев».

Собаки были легко опознаны. Овчарка, «личная собака Гитлера», как было написано в другом акте, «высокая, с длинными ушами».

Обгоревшие лица мужчины и женщины были неузнаваемы. Произведенное тщательное расследование установило, что это — Гитлер и Ева Браун. На трупах имелись приметы.

Мы погрузились во все подробности последних дней Гитлера, чтобы восстановить все события, и получили подтверждения и доказательства тому, что в воронке от бомбы были наспех припрятаны Гитлер и Ева Браун.

БЕЗ МИФА

Тогда нам многое удалось установить, разобраться в фактах, сопоставить их, ощутить самую атмосферу событий. Но сейчас, разбирая в архиве ценные материалы, хранящие подробности последних дней третьей империи, я получила возможность еще раз вглядеться в события и полнее представить их себе.

Прорыв укреплений на Одере

В дневнике Бормана, заместителя Гитлера по партии, в привычный ритм фиксаций совещаний у фюрера, приемов, отстранений одних и назначений других лиц на ответственные посты, ужинов у Евы Браун, награждений и кое-каких своих семейных дел врываются, угрожающе вытесняя все остальное, сведения о наступающих со всех сторон армиях. В январе они еще звучат эпически:

«Утром большевики перешли в наступление», а

на следующий день: «Воскресенье 14 января. Посещение тети Хескен».

Налеты на Дрезден, наступление противника на Веймар, налет на Берлин («Второе попадание в партийную канцелярию (сильное)»). «Русские под Кюзлином и Шлаве» — это все еще вперемежку с хроникой светско-политической жизни. Но с каждым днем лихорадочнее фиксируется, как сжимается круг:

«Глубокие прорывы в Померании. Танки под Кольбергом, Шлаве-Дранбургом.

На западе остался только один плацдарм» (4 марта).

«Англичане вступили в Кельн.

Русские в Альтдаме!!» (8 марта).

«Первое крупное попадание в министерство пропаганды» (14 марта). «Танки в Варбурге-Гиссен» (28 марта).

Уволен Гудериан. Отстранен Гитлером шеф прессы д-р Дитрих. А «пополудни танки у Беркенрунгена. Ночью танки у Герцфельда» (30 марта).

«Русские танки под Винер-Нейштадтом» (1 апреля).

«Большевики под Веной.

Англо-американцы в Тюрингской области».

А в середине апреля три дня взрываются в дневнике Бормана одной и той же фразой: «Большие бои на Одере!», «Большие бои на Одере!», «Большие бои на Одере!!»

Мощные укрепления на Одере считались неприступными. По мнению германского верховного командования, именно на Одере будет остановлено наступление Красной Армии.

Как известно, в бетонированном убежище, где

Гитлер находился в ожидании перелома в событиях, Геббельс читал ему вслух страницы из жизнеописания Фридриха Великого. Гитлер прилагал немало стараний к тому, чтобы внушать своим соотечественникам мысль о его духовном сродстве с этим удачливым прусским королем.

Придя к власти в 1933 году, фюрер тотчас отправился в Потсдам и сфотографировался для прессы у могилы Фридриха II при гарнизонной церкви, одетый в торжественный черный фрак, чего не случалось раньше видеть. В его бункере на стене висел портрет Фридриха II. Теперь их сблизили военные невзгоды, которые претерпевал король. В том месте книги, где терпящий поражение Фридрих решил расстаться с жизнью, автор взывает к нему: «Подожди немного, и дни твоих мучений будут позади. Солнце твоего счастья уже за тучами, и скоро оно озарит тебя». Подоспевшее известие о смерти его врага, русской царицы Елизаветы, принесло королю избавление от позорного поражения.

Гитлер расчувствовался и пожелал взглянуть на гороскопы, запертые на замок в «научном» отделе гестапо у Гиммлера.

Любопытно еще раз открыть дневник Геббельса в том месте, где он с торжествующей издевкой записывает о том, что арестованы все астрологи, магнитопаты и антропософы и с их шарлантанством покончено: «Удивительное дело, ни один ясновидец не предвидел заранее, что он будет арестован. Плохой признак профессии. . .» (13 июня 1941 г.)

Но это годилось тогда, в преддверии войны с Россией, войны, мнившейся такой победоносной. Теперь нужно другое. Все, что говорит о спасении, — все сюда.

Предсказания, вселяющие надежду, настолько в цене, что их через партийные инстанции пересылают жене рейхсминистра пропаганды. Я приводила текст одного из них. Гороскопы тоже стали убедительны. В берлинской квартире Геббельса разведчики нашли гороскоп его сына Гельмута и принесли его мне.

А тогда два самых главных гороскопа — гороскоп фюрера и гороскоп третьей империи, затребованные Гитлером, — были принесены в убежище. Гитлер с помощью рейхсминистра пропаганды удостоверился, что гороскопы обещают после жестоких поражений в начале апреля 1945 года неслыханный военный успех во второй половине апреля.

Через несколько дней после этого, 13 апреля, стало известно о смерти Рузвельта. Это ли не знамение, не исторический аналог, не поворотный пункт в судьбе Германии?!

Геббельс из убежища обратился по радио к народу:

«Фюрер сказал, что уже в этом году судьба переменится и удача снова будет сопутствовать нам... Подлинный гений всегда предчувствует и может предсказать грядущую перемену. Фюрер точно знает час, когда это произойдет. Судьба послала нам этого человека, чтобы мы в годину великих внешних и внутренних испытаний могли стать свидетелями чуда...»

16 апреля началось наступление Красной Армии. Прорыв укреплений на Одере, считавшихся неприступными, поверг ставку Гитлера в панику. Чиновничий Берлин бежал на автомашинах в Мюнхен. Шоссе, ведущее из Берлина в Мюнхен, запруженное автомашинами, было прозвано в те дни берлин-

цами «имперская дорога беженцев». О населении же Берлина никто не заботился.

Танковые и стрелковые дивизии Красной Армии стремительно окружали Берлин.

После прорыва на Одере Гитлер со своей ставкой готовился перебраться в свой замок в Берхтесгаден (Оберзальцберг). Были отданы приказы на подготовку к вылету.

Борман записывает в своем дневнике:

«Пятница 20 апреля.

День рождения фюрера, но, к сожалению, настроение не праздничное. Приказан отлет передовой команды».

В бумагах Бормана, которые я разбирала в майские дни капитуляции Берлина в опустевшем подземелье — они сейчас снова передо мной, — радиограммы адъютанту Хуммелю и Франку с распоряжениями о подготовке помещений. 21 апреля ответ Хуммеля — его план размещения служб и отделов, частично уже выполненный, и просьба одобрить план.

Уже переправлены в Берхтесгаден отдельные службы, часть архива Гитлера, один из его секретарей, его личный врач Моррель, — без его сильно возбуждающих препаратов Гитлер уже давно не мог обходиться и не расставался с ним.

И еще одно подтверждение намерений Гитлера обосноваться в Берхтесгадене: он назначил Деница командующим всеми силами в северной зоне (Nordraum). Но командующий южной зоной назначен не был, очевидно, потому, что Гитлер, еще питая намерения перебраться на юг, оставлял этот пост за собой.

Все было наготове к отлету.

Но 21 апреля Гитлер отдал приказ о контратаке в Берлине.

22 апреля на очередном совещании Гитлер услышал от докладывающих обстановку генералов, что эта контратака, которой командовал генерал СС Штейнер, не удалась и что Берлин едва ли сможет долго продержаться и поэтому ему следует покинуть столицу, чтобы дать возможность войскам отступить.

Гитлер разразился истерикой, обвинял СС и армию в измене, пригрозил генералам самоубийством и, впав в депрессию, удалился с Борманом и Кейтелем. О чем они совещались, неизвестно. Вернувшись, он вяло объявил генералам, что остается в Берлине.

День 22 апреля эфир загружен радиограммами: Борман — Хуммелю и Франку. Лихорадочные распоряжения о подготовке к прибытию фюрера. И итог дня, разрешившийся радиограммой:

«22.4.45

Из Берлина.

Хуммелю, Оберзальцберг.

Вышлите немедленно с сегодняшними самолетами как можно больше минеральной воды, овощей, яблочного сока и мою почту.

Рейхсляйтер Борман».

Отлет не состоялся.

Англо-американские войска подошли к Мюнхену, вблизи которого Берхтесгаден. Бежать из капитулировавшего Берлина — отыгранной пешкой попасть в руки англо-американцев — Гитлер не решился.

Берлин покинуло верховное командование: гроссадмирал Дениц, генерал-фельдмаршал Кейтель — начальник штаба вооруженных сил, генерал-полковник Йодль — начальник управления по оперативному руководству и генерал авиации Коллер вместе со своими штабами. Связь с ними в дальнейшем установлена не была, пишет адъютант Гитлера Гюнше в своих показаниях 14 мая 1945 года, и о их местопребывании сведений не поступало.

Стрелковые и танковые дивизии Красной Армии в тяжелых боях, сминая один за другим пояса немецкой обороны, рвались к центру Берлина.

Уже снаряды русской артиллерии достали имперскую канцелярию, и только толстый бетон бункера спас Гитлера от последствий прямого попадания. Рухнула радиомачта рейхсканцелярии. Поврежден подземный кабель.

Донесения о ходе боев от командующих армиями больше не поступали сюда. Радиосвязь с Оберзальцбергом нестойкая — то пропадала совсем, то ненадолго налаживалась. О судьбе немецких городов и о положении в Берлине узнавали главным образом из радиосообщений корреспондентов противника с мест боев.

Слухи, слухи, одни отчаяннее других, приползали с улиц сюда, в подземелье.

Весной 1941 года, замышляя свой заговор против человечества, Геббельс с дьявольским ликованием наводнял мир слухами, чтобы сеять панику, страх и отчаяние — «во имя всеобщей суматохи». «Слухи — наш хлеб насущный», — записал он тогда в дневнике.

Но эпицентр землетрясения, вызванного ими, переместился — теперь он проходил по району имперской канцелярии.

На улицах Берлина гибли немцы. Донесения нацистских крайзляйтеров (руководителей округов) — они находились в той же папке Бормана, где и его радиограммы адъютантам, — описывают безнадежность положения тех, кто сражается на улицах столицы, и бедствия, переживаемые населением.

Вот одно из них.

Руководитель округа Герцог, донося, что противник продвинулся по Шенхаузераллее до Старгардерштрассе и что оказать ему сопротивление на этом участке нет возможности, спрашивает:

«Вопрос: что будет с продовольствием для населения? Люди не выходят больше из подвалов, лишены воды и не могут ничего сготовить».

Такие же донесения должны были стекаться к Геббельсу — комиссару обороны Берлина и руководителю НСДАП столицы.

Но к ним оставались совершенно глухи. Они просто не принимались в расчет. Нет ни одного свидетельства, ни одного штриха или запечатленного слова, из которых можно было заключить, что в дни величайшей катастрофы немецкого народа виновники всех его бед хоть на минуту задумались о том, что сейчас переживает народ, испытали хоть каплю ответственности перед ним.

«Я и история», «Моя историческая миссия», «Я возложил на себя ответственность за мой народ», — слышали немцы постоянно от Гитлера. «Фюрер — это Германия», — надсаживалась нацистская пропаганда, всячески мистифицируя народ, создавая

культ Гитлера. Внушалось: «За вас думает фюрер, ваше дело лишь выполнять приказ». Гитлер велел передать по берлинскому радио, что он в столице, в расчете, что солдаты будут упорнее обороняться. Это было выполнено днем 23 апреля.

А размеры бедствия множились неописуемо. Город был брошен властями на произвол судьбы. Не была организована эвакуация. Даже дети не были вывезены из Берлина, оставшегося без воды и хлеба.

Солдаты и фольксштурмовцы — в уличных боях, исход которых предрешен, население — от снарядов, от бомб, под обвалившимися домами — тысячи немцев должны были бессмысленно погибать в страданиях.

Гитлер сидел в подземелье, окруженный своими ближайшими «соратниками». Ева Браун. Марциали — повариха вегетерианской кухни фюрера. Геббельс, всю жизнь перенимавший ухватки и претензии Гитлера. Борман, о котором Геббельс писал в дневнике 14 июня 1941 года, — «закулисная фигура», ненавидимый даже нацистской партийной верхушкой. «Он вызывал отвращение у всех, кто его знал», — пишет Раттенхубер. Борман пил коньяк, сидя в углу, и фиксировал «для истории» высказывания Гитлера.

Поразительно, до чего все они жаждут не так, так этак проскочить в историю. Борман с помощью записей. Большее убожество, чем то, которое являет собой его записная книжка, трудно представить. Но записывать-то, правда, было нечего. Не до великих мыслей. Единственная фраза запомнилась решительно всем, кто видел в те дни Гитлера: «Что случилось? Какой калибр?» С этими словами он всякий

раз появлялся в дверях кабинета после очередного разрыва.

Когда в убежище проникали прибывшие с мест боев генералы, они заставали Гитлера за столом, над картой, с расставленными на ней пуговицами — воображаемыми им немецкими войсками. Он наносил на карту стрелы — контрудары.

Сообщение о поражении, о том, что существующая в воображении Гитлера армия разбита, могло стоить жизни докладчику. Гитлер не вникал в истинное положение дела, не желал знать его. Исступленно встречал он каждое известие о поражении, обвинял генералов в измене, беспощадно отправлял их под расстрел.

Если же сходило благополучно, командир, добиравшийся сюда, чтобы получить помощь, указание, выслушивал заверение о чуде, об армии Венка, которая спешит к Берлину; вручив ему орден, его выпровождали наверх — в бой.

Узнав, что 56-й танковый корпус, которым командовал генерал Вейдлинг, потерпев поражение, отступил от Кюстрина, Гитлер в ярости велел расстрелять Вейдлинга. Тот явился в подземелье, но Гитлер, не отдавая себе отчета, кто перед ним, стал посвящать Вейдлинга в свой план обороны. В этом фантастическом плане важное место отводилось армии Венка, которая участвовать в нем не могла, потому что была окружена советскими войсками, а также корпусу самого Вейдлинга, от которого осталось всего лишь несколько растрепанных, небоеспособных подразделений. Вейдлинг отбыл, ожидая казни. Но был снова вызван и... — причуда тирана — назначен комендантом Берлина.

«Его противоречивые и нервозные приказания

окончательно дезориентировали и без того запутавшееся германское командование», — пишет в своей неизданной рукописи начальник личной охраны Гитлера СС обергруппенфюрер и генерал-лейтенант полиции Раттенхубер. «Он представлял собою в буквальном смысле развалину — на лице застывшая маска страха и растерянности. Блуждающие глаза маньяка. Еле слышный голос, трясущаяся голова, заплетающаяся походка и дрожащие руки».

После покушения на него 20 июля 1944 года в его ставке в Восточной Пруссии, «страх и недоверие к людям охватили Гитлера, и присущая ему истеричность стала прогрессировать».

Повар Ланге был последним, кто видел его на поверхности в начале апреля.

За стенами имперской канцелярии гибли люди, обманутые Гитлером. А в подземелье, уповая на чудо, на гороскоп, на инстинкт фюрера, жили в атмосфере интриг, переживаний и потрясений, пищи для которых было предостаточно.

Одно лишь известие об измене Геринга, покинувшего Берлин 23 апреля и вступившего в переговоры с англичанами и американцами о заключении сепаратного мира, затмило для обитателей подземелья все, что происходило сейчас на земле. Геринг направил Гитлеру послание. В нем говорилось, что Гитлер, назначивший его, Геринга, своим преемником, находится в окруженном Берлине и не может руководить страной и поэтому пришла пора ему, Герингу, возглавить государство.

Гитлер неистовствовал. Приказал своему адъютанту Шаубу сжечь его личный архив в Мюнхене и Берхтесгадене. Адъютант Шауб успел подняться с аэродрома Гатов на предпоследнем самолете.

Приказание фюрера об аресте Геринга было передано по радио начальнику его личной охраны и выполнено им.

О том, что представлял собой Геринг, «второй человек» в империи, было широко известно. Раттенхубер, совмещавший должность начальника личной охраны Гитлера с должностью начальника СД (службы безопасности) имперской канцелярии, знал о гитлеровских соратниках явное и тайное. «Мне нечего больше добиваться от жизни, моя семья обеспечена» — эту фразу, сказанную Герингом осенью 1944 года, приводит Раттенхубер. Он пишет о том, как жадно обогащался Геринг, используя свою власть для прямого грабежа, сначала в самой Германии, в Италии, потом в оккупированных странах. Дни войны он проводил в своих дворцах в Каринхолл и в Берхтесгадене, среди награбленных, свезенных отовсюду ценностей, и принимал посетителей в розовом шелковом халате, украшенном золотыми пряжками. И к антуражу — его жена с львенком на руках.

Как ни в чем не бывало он по-прежнему выезжал на охоту.

О том, какая это была охота, рассказал мне старший егерь в охотничьем замке Геринга в июне 1945 г.

В лесном парке, где высаженные рядами деревья образовывали прямые аллеи, насквозь просматриваемые, в конце одной из таких аллей устраивалась кормушка для оленя, которого приучали являться сюда в определенное время. Приезжавший охотиться наманикюренный Геринг, в красной куртке и зеленых сапогах, усаживался в открытую машину и двигался по аллее, в конце которой его уже поджи-

дала мишень — прирученный олень. И в качестве охотничьего трофея он увозил рога своей жертвы.

Оказавшись под арестом, Геринг отступился от своих притязаний, и в Берлин, в убежище имперской канцелярии, пришла радиограмма, извещавшая, что Геринг из-за «сердечного заболевания» просит принять отставку.

«Рейхсмаршал Герман Геринг, в течение долгого времени страдающий хронической болезнью сердца, вступившей сейчас в острую стадию, заболел, — сообщалось населению и армии в «Берлинском фронтовом листке». — Поэтому он сам просил о том, чтобы в настоящее время, требующее максимального напряжения, он был бы освобожден от бремени руководства воздушными силами и ото всех связанных с этим обязанностей. Фюрер удовлетворил эту просьбу.

Новым главнокомандующим воздушными силами фюрер назначил генерал-полковника Риттер фон Грейма при одновременном присвоении ему звания генерал-фельдмаршала.

Фюрер принял вчера в своей Главной квартире в Берлине нового главнокомандующего воздушными силами и обстоятельно обсудил с ним вопрос о введении в бой авиачастей и зенитной артиллерии».

Приказ о назначении Грейма мог быть передан радиограммой. Но Гитлер, привыкший к спектаклям и парадам, не знавший никаких преград и ограничений, тем более, коль скоро дело касалось его престижа, не считаясь с реальным положением дел и целесообразностью, приказывает Грейму явиться к нему в окруженный Берлин, в бункер.

Под прикрытием сорока истребителей Грейм, вылетев из Рехлина, кое-как дотянул до аэродрома

Гатов, теряя одну за другой сопровождавшие его машины. Поднявшись на другом самолете, он ушел с аэродрома, но через несколько минут над Бранденбургскими воротами снаряд оторвал дно машины. Грейм был ранен в ногу. Его личный пилот Ганна Рейч, сопровождавшая Грейма, сменила его за штурвалом и посадила самолет на магистрали Восток — Запад.

О том, что предстало их глазам в бункере Гитлера, Рейч дала подробные показания американским военным властям спустя несколько месяцев. Ее показания тем убедительнее, что известная летчица Рейч была фанатичной нацисткой, преданной Гитлеру.

Оставаясь у постели раненого Грейма в убежище, Рейч три дня наблюдала за поведением руководителей империи. Она описывает Гитлера, шагающего по бункеру, «размахивая дорожной картой, которая уже почти разлагалась от пота его рук, и строившего планы кампании Венка перед всяким, кто его случайно слушал».

«Поведение и физическое состояние его опускалось все ниже».

Комната, где находилась Рейч, была смежной с кабинетом Геббельса, по которому он нервно ковылял, проклиная Геринга, обвиняя его во всех их теперешних бедах, произнося наедине с собой многословные тирады. Ганне Рейч, вынужденной все это наблюдать и слушать, так как дверь его кабинета оставалась открытой, казалось: «. . .как всегда, он ведет себя так, будто говорит перед легионом историков, жадно ловящих и записывающих каждое его слово». Существовавшее у нее и прежде мнение «в отношении манерности Геббельса, его

поверхностности и заученных ораторских приемов было вполне подтверждено этими трюками».

Они с Греймом задавались отчаянным вопросом: «И это те, кто правил нашей страной?»

В первый же вечер по их прибытии Гитлер вызвал Рейч и вручил ей две ампулы с ядом — для нее и для Грейма — на тот случай, если опасность приблизится. При этом он сказал ей, что «каждый отвечает за то, чтобы уничтожить свое тело так, чтобы не осталось ничего для опознания».

В ночь на 27 апреля рейхсканцелярия находилась под сильным артиллерийским обстрелом. «Разрывы тяжелых снарядов и треск падающих зданий прямо над бомбоубежищем вызвали такое нервное напряжение у каждого, что кое-где через двери слышны были рыдания».

27-го исчез из убежища приятель Бормана — обергруппенфюрер СС Фегелейн, представитель Гиммлера в ставке Гитлера, женатый на сестре Евы Браун. Гитлер приказал найти и задержать Фегелейна. Он был схвачен в его берлинской квартире, переодетый в гражданское, готовящийся бежать. Он просил свояченицу вступиться за него, но ничего не помогло. По распоряжению Гитлера он был расстрелян эсэсовцами в саду рейхсканцелярии.

В ночь на 28 апреля обстрел имперской канцелярии продолжался с еще большей интенсивностью. «Точность попадания была поразительной для находящихся внизу, — говорила Рейч. — Казалось, что каждый снаряд ложится в то же место, что и предыдущий... В любой момент могут войти русские, и фюрером был собран второй самоубийственный совет».

Клятвы в верности, речи, заверения, что покончат жизнь самоубийством. В заключение, рассказывала Рейч, «говорилось, что СС будет поручено обеспечить, чтобы не осталось никаких следов».

28 апреля из иностранных радиотелеграмм в убежище стало известно, что Гиммлер обратился через Швецию к английским и американским властям, предлагая заключить сепаратный мир.

Гиммлер, фюрер СС, протектор рейха, — изменник. «Все мужчины и женщины плакали и кричали от бешенства, страха и отчаяния, — рассказывала Рейч, — все смешалось в безумной судороге».

Злобная истерика охватила тех, кто был обречен тут Гитлером на неминуемую гибель.

Гитлер, по свидетельству Рейч, «бесновался, как сумасшедший. Лицо его было красным и неузнаваемым. Потом он впал в отупение».

Вскоре после этого в убежище пришло известие, что советские войска продвигаются к Потсдамерплац, готовят позиции для штурма имперской канцелярии.

Гитлер приказал раненому Грейму и Рейч вернуться в Рехлин и немедленно отправить все оставшиеся самолеты сюда, на Берлин, чтобы разбить позиции русских. «С помощью авиации Венк подойдет», — опять твердил он о Венке.

Второе задание Грейму заключалось в следующем: найти и арестовать Гиммлера. Не допустить, чтобы он остался жив, не отомщен и наследовал фюреру.

Мстительное чувство еще способно было как-то всколыхнуть Гитлера.

Как ни обрисовывали Грейм и Рейч безнадежность этого задания, Гитлер стоял на своем.

Они вылетели на закопанном у Бранденбургских ворот последнем самолете «Прадо», проделали тяжелый путь лишь для того, чтобы удостовериться воочию в полном крахе германских вооруженных сил.

Был ли план у Гитлера?

Нередко, рассматривая последние дни имперской канцелярии, исследователи справедливо видят распад и черты духовного уродства, так отчетливо проступающие в эти дни в Гитлере, но оставляют в стороне план его действий. Нагромождение исторических и фарсовых сцен мешает разглядеть определенную последовательность в его действиях.

Лихорадочно возникавшие намерения укрыться то в Берхтесгадене, то в разрекламированной Геббельсом Южнотирольской крепости, то в Шлезвиг-Гольштейне рушились под натиском наступающих армий. На аэродроме Гатов еще стоял наготове последний самолет Гитлера. Когда самолет был уничтожен, поспешно стали сооружать взлетную площадку неподалеку от рейхсканцелярии. Эскадрилью, предназначенную для Гитлера, сожгла советская артиллерия. Но его личный пилот находился все еще при нем.

Вот только перебираться, в сущности, было некуда. Со всех сторон наступали армии.

Бежать из павшего Берлина, чтобы попасться англо-американским войскам, он посчитал безнадежным делом. Он избрал другой план.

Вступить отсюда, из Берлина, в переговоры с англичанами и американцами, которые, по его

мнению, должны быть заинтересованы в том, чтобы русские не овладели столицей Германии, и оговорить какие-то сносные условия для себя.

Но переговоры, считал он, могут состояться лишь на основе улучшенного военного положения Берлина.

Имел ли этот план реальную почву и был ли осуществим тогда — другое дело. Но он владел Гитлером, и, выясняя историческую картину последних дней имперской канцелярии, его не стоит обходить.

Гитлер не мог не понимать, что даже временное улучшение положения Берлина при общем катастрофическом военном положении Германии мало что изменит в целом. Но это было, по его расчетам, необходимой политической предпосылкой к переговорам, на которые он возлагал последние надежды.

С маниакальной исступленностью твердит он поэтому об армии Венка.

Несомненно, что он решительно не способен был руководить обороной Берлина. Но речь здесь сейчас лишь о его планах.

Гитлер был травмирован изменой Геринга и Гиммлера не потому, что они вступили в переговоры с союзниками, а потому, что это делалось помимо него, читаю в показаниях Раттенхубера, написанных им вскоре после того, как он попал в плен в Берлине.

Геринг и Гиммлер изменили *ему*, и они — можно добавить к этому — окончательно выбивали почву из-под его ног, вступая в переговоры в обход его.

Сейчас, разбирая архивные материалы, я обна-

ружила письмо, подписанное Борманом и Кребсом, адресованное генералу Венку. Оно было послано ему с гонцом в ночь на 29 апреля. Это письмо мне представляется очень важным документом, освещающим последние замыслы Гитлера.

Оно попало в нашу военную комендатуру в Шпандау 7 мая 1945 года вот каким образом.

Некто Йозеф Брихци, семнадцатилетний парень, учившийся на электрика и призванный в фольксштурм в феврале 1945 года, служил в противотанковом отряде, оборонявшем правительственный квартал.

В ночь на 29 апреля он и еще один шестнадцатилетний парень были вызваны из казармы с Вильгельмштрассе, и солдат отвел их в рейхсканцелярию. Здесь их провели к Борману.

Борман объявил им, что они избраны для выполнения ответственнейшего задания. Им предстоит прорваться из окружения и доставить генералу Венку, командующему 12-й армией, письмо. С этими словами он вручил им по пакету.

Судьба второго парня неизвестна. Брихци же удалось на рассвете 29 апреля выбраться на мотоцикле из окруженного Берлина. Генерала Венка, как ему сказали, он найдет в деревне Ферх, северо-западнее Потсдама. Добравшись до Потсдама, Брихци обнаружил, что никто из военных не знал и не слышал, где же на самом деле находится штаб Венка. Тогда Брихци решил отправиться в Шпандау, где жил его дядя. Дядя посоветовал никуда больше не ездить, а пакет сдать в военную комендатуру. Повременив, Брихци снес его в советскую военную комендатуру 7 мая.

Вот текст письма:

«Дорогой генерал Венк!

Как видно из прилагаемых сообщений, рейхсфюрер СС Гиммлер сделал англо-американцам предложение, которое безоговорочно передает наш народ плутократам.

Поворот может быть произведен только и лично фюрером, только им!

Предварительным условием этого является немедленное установление связи армии Венка с нами, чтобы таким образом предоставить фюреру внутриполитическую и внешнеполитическую свободу ведения переговоров.

Ваш Кребс,
нач. генштаба

Хайль Гитлер!
Ваш М. Борман»

Запах горького миндаля

В последних днях Гитлера отчетливо предстает гнусная фальшь всей его жизни, в которой не было иного пафоса, кроме пафоса власти над людьми, и иной истинной цели, кроме личного возвеличения, средством к которому ему служил прежде всего немецкий народ.

Пока он дышал, он убивал. Двор имперской канцелярии превратился в место казни — здесь расстреливали.

Гитлер угрожал. Но измена множилась.

По свидетельству его приближенных, комендант Берлина Вейдлинг просил Гитлера оставить город, чтобы Берлин смог прекратить борьбу, не обрекая себя на полное уничтожение. Гитлер был побежден, растоптан, мертв. Но, мертвый, он тянул за собой

всех. Пусть гибнет все. Он заявил: «Союзники найдут в Германии только развалины, крыс, голод и смерть».

Как ни трепетали перед Борманом нацистские крайзляйтеры, но в их донесениях, сохранившихся в его папке, сквозит нарастающее отчаяние — донесения становятся короче, пронзительнее: нестерпимый обстрел противника, тяжелые потери, нехватка вооружения, невозможно противостоять натиску русских войск. В это никто не вникал.

Здесь, в убежище, уже справили «самоубийственный совет», как назвала его Рейч. А «фронтовой листок» Геббельса от 27 апреля, попавший к нам тогда, обращается к берлинцам пошло, бравурно: «Браво вам, берлинцы! Берлин останется немецким!..» — и лживо обещает помощь: «Уже движутся отовсюду к Берлину армии, готовые защитить столицу, нанести решающее поражение большевикам и в последние часы изменить судьбу нашего города. Поступающие извне донесения свидетельствуют об их успехах. Боевые части, которые продвигаются сюда, знают, как ждет их Берлин. Они и впредь будут фанатически сражаться за наше спасение».

Откроем записную книжку-дневник Бормана. Под этой же датой, 27 апреля, совсем иного характера запись. Она отличается и от предыдущих, состоящих обычно из информации и восклицательных знаков — единственного эмоционального элемента:

«Пятница 27 апреля.

Гиммлер и Йодль задерживают подбрасывание нам дивизий.

Мы будем бороться и умрем с нашим фюрером — преданные до могилы.

Другие думают действовать из «высших соображений», они жертвуют своим фюрером, — пфу — какие сволочи! Они потеряли всякую честь.

Наша имперская канцелярия превращается в развалины.

«Мир сейчас висит на волоске».

Союзники требуют от нас безоговорочной капитуляции — это означало бы измену родине!

Фегелейн деградирует — он пытался бежать из Берлина, переодетый в гражданский костюм».

Давались заверения фюреру, что последуют за ним в могилу, и делались об этом пометки в дневниках, но умирать не собирались. Как видно из приведенной мной выше телеграммы Бормана своему адъютанту Хуммелю, он заручался пристанищем для себя далеко от Германии. Словом, готовились действовать, спасаться. Задерживал Гитлер.

«Второй день начинается ураганным огнем, — записывает Борман 29 апреля. — В ночь с 28 на 29 апреля иностранная пресса сообщила о предложении Гиммлера капитулировать.

Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер диктует свое политическое и личное завещание.

Предатели Йодль, Гиммлер и генералы оставляют нас большевикам!

Опять ураганный огонь!

По сообщению противника, американцы ворвались в Мюнхен!»

По иностранному радио передали подробнее информацию агентства Рейтер о предложенном Гиммлером английским и американским властям сепаратном мире. Перепечатанная секретаршей Юнге (огромные буквы!), она была вручена Гитлеру. Вот

что он прочитал тогда (эта бумага сохранилась в одной из его папок):

«Правительство Ее Величества уполномочено еще раз подчеркнуть, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции, предложенной всем трем Великим державам, и что между тремя государствами существует теснейшее единодушие».

29 апреля, вслед за отбытием Грейма, которому Гитлер приказал добраться в Рехлин и отправить все имеющиеся у Германии самолеты на Берлин, в помощь мифическому Венку, дополз наконец до имперской канцелярии слух: армии Венка не существует.

Сообщение иностранного радио о казни партизанами Муссолини и его любовницы Клары Петаччи рисовало Гитлеру и Еве Браун их собственную близкую перспективу.

«После прорыва русских моторизованных частей в районе Ангальт-вокзала и Кенигсплаца фюрер стал беспокоиться о том, чтобы не упустить момента покончить самоубийством», — писал в своих показаниях его адъютант Гюнше.

Вызван начальник госпиталя рейхсканцелярии профессор Хаазе, чтобы испытать на собаке фюрера действие яда. Гитлер наблюдает за ее конвульсиями.

Затем он устраивает брачную церемонию.

Летчица Рейч, в то время очень преданная Гитлеру, наблюдавшая Еву Браун в подземелье, была шокирована близостью к своему фюреру такого мизерного существа. Глуповатая мещанка, смазливая, умевшая угождать во всем Гитлеру, — такой описывают ее и Рейч и Раттенхубер. Другого рода суждения о ней мне не встречались.

Похоже, что эта Гретхен новой формации,

пропитанная, как все нацистское, тщеславием и фанатизмом, явилась в подземелье оформить с Гитлером брак и таким путем войти в историю.

Ведь все они крайне озабочены своим местом в истории. Для них история — это «тот свет», как загробная жизнь для верующего. Впрочем, «загробная жизнь» уже тоже шла в оборот, утилизировалась. Не исключено, что Гитлер, католик по рождению, преследовавший церковь, чтобы бог не мешал ему возвыситься и стать самому наравне с богом, теперь вдруг вспомнил о боге, о том, что он грешил, живя с женщиной вне брака. Или просто перед той же историей понадобилось пристойнее выглядеть, раз уж стали явными эти тщательно скрываемые отношения. Или вдвоем не так жутко. И, наконец, мистику и невропату, в экзальтации свадебной обрядности ему легче было зажать зубами ампулу цианистого калия.

За стенами имперской канцелярии бились немецкие солдаты. Рядом, на Потсдамской площади, в подземных станциях метро, изнемогали раненые, у них не было ни воды, ни пищи.

Гитлер бросил на пихельсдорфские мосты свой последний резерв — подростков из гитлерюгенд.

Немецкие подростки были посланы оборонять имперскую канцелярию. Это бессовестное злодеяние тех дней.

«Парни устали и не в силах больше участвовать в боях», — читаю в донесении на имя Бормана от 22 апреля.

В тот же день в другом донесении сообщается о том, что рейхсфюрер гитлеровской молодежи Аксман со своими ближайшими сотрудниками собирается перебраться в дом 63—64 по Вильгельм-

штрассе. «Для усиления обороны он намерен обложить дом 40—50 Hitlerjungen.

Рейхсфюрер молодежи просит согласия рейхсляйтера (Бормана. — *Е. Р.*) для проведения своего плана». И получает на это согласие.

Округ Шарлоттенбург-Шпандау, донося 26 апреля об отходе солдат под натиском советских частей, добавляет: «Гитлерюгенд должна была удерживать мост, но это ей оказалось не под силу».

Геббельс все в том же «Берлинском листке» 27 апреля подхлестывал молодежь:

«Рейхсфюрер Аксман награжден вчера золотым крестом... Вчера вечером фюрер в своей Главной квартире вручил Аксману знак отличия со словами: «Без вашей молодежи невозможно было бы вообще продолжать борьбу не только здесь, в Берлине, но и по всей Германии». Аксман ответил на это: «Это Ваша молодежь, мой фюрер!»

Обманутые юноши, они, быть может, верили, что защищают Германию. И гибли. А здесь справляли свадьбу. Или, скорее, поминки. Смерть сидела за столом. Невеста была в черном.

Больше десяти лет Гитлер был связан с Евой Браун, прежде служившей в Мюнхене в фотоателье Гофмана. Вместе с этим фотографом, разбогатевшим впоследствии на монополии фотографий фюрера, Ева Браун сопровождала Гитлера, чрезвычайно любившего фотографироваться, во время его пропагандистских поездок перед захватом власти.

Гитлер поселил ее в своем замке Берхтесгаден, и там она была хозяйкой дома. В Берлине он жил один: нацистская пропаганда прославляла аскетизм фюрера.

Дрожали стены бункера от прямых попаданий

артиллерии. Здесь, в склепе, было безнадежно жутко.

«Каждый был занят своим делом, своими переживаниями, поисками выхода для себя. Некоторые, отчаявшись, уже не искали спасения, а, сбившись в угол и не глядя ни на кого, ждали неизбежного конца или же, наоборот, шли в буфет и заливали свое горе коньяком и вином из подвалов фюрера», — описывает эти часы Раттенхубер в своей рукописи.

Эсэсовская охрана медленно передвигалась вокруг имперской канцелярии. В саду нечем было дышать от гари и дыма. Берлин горел. Рушились дома, взрывались снаряды. Уже доносилась сюда ружейная перестрелка.

В коридорах убежища стонали раненые, другого укрытия поблизости не было.

В такой обстановке состоялась брачная церемония. Формальностями, установленными гитлеровским режимом, на этот раз пренебрегли. Жених и невеста не предъявили, как это полагалось, документов, удостоверяющих их арийское происхождение, их пригодность к браку, их несудимость, политическую благонадежность и полицейское свидетельство о поведении сторон. Вызванный Геббельсом чиновник, оформлявший брак, предложил им лишь удостоверить подписями, что они принадлежат к высшей расе и не страдают наследственными болезнями.

Потом был свадебный завтрак с шампанским, в узком кругу.

На этой свадебной тризне сидела также жена рейхсминистра Магда Геббельс. Когда-то Гитлер был посаженым отцом на ее свадьбе. В бумагах

фрау Геббельс сохранились следы одной из бесед ее с фюрером. Когда она собралась было уйти от Геббельса (этот апостол нацистской морали за пристрастие к киноактрисам был прозван в народе «бабельсбергским бычком»[1]), фюрер просил ее сохранить семью. Он сказал, что и она, как «партайгеноссин», тоже несет свою миссию.

Фюрер изображал перед народом аскета, презревшего земные блага во имя служения народу, Магда Геббельс с обманывающим ее уродцем — образцовую многодетную семью.

Теперь одно лицемерие сменяло другое.

Чад мистицизма и пошлости исходил от этой свадьбы, живой человек задохнулся бы в нем.

Потом Гитлер принялся диктовать завещание.

Пресловутый Венк испарился. Американцы — Гитлер еще 21 апреля снял войска с Эльбы и открыл американцам путь на Берлин — были еще далеко. А со стороны Вильгельмштрассе, откуда главный вход в рейхсканцелярию, прежде осаждаемый журналистами (Геббельс, обходя эту улицу, скрытно проникал через заднюю дверь на тайный сговор к фюреру четыре года назад), доложили: русские в двухстах метрах. Тогда на выручку пришла ампула с ядом. Смерть есть смерть, и телохранители поволокли его труп через запасный выход из бетонированного убежища, чтобы сжечь.

Спустя две недели адъютант Гюнше написал в своих показаниях: «После того, как трупы, облитые бензином, были зажжены, дверь убежища тотчас же была закрыта из-за сильного огня и дыма. Все

---

[1] Бабельсберг — предместье Потсдама, где находилась крупнейшая немецкая киностудия.

направились в переднюю комнату... Дверь в личные комнаты фюрера была немного приоткрыта, и оттуда исходил сильный запах миндаля (цианистого калия)...»

В дневнике Бормана под датой 30.IV.45, как я уже писала, значится смерть Гитлера и Евы Браун.

А 1 мая, видимо после возвращения Кребса, посланного Геббельсом к генералу Чуйкову с просьбой о перемирии, запись состоит из одной фразы:

«Попытка вырваться из окружения!»

На этом дневник обрывается.

Оставались лишь те, кто меньше других опасались расплаты. Все прочие бежали.

Геббельс сказал вице-адмиралу Фоссу, что ему, с его хромотой и детьми, нечего пытаться выбраться, он обречен. Геббельса называли верной собакой фюрера. На своей любимой овчарке Блонди Гитлер испробовал действие ампул с ядом. А Геббельса с семьей держал около себя до последнего, когда уже поздно было что-либо предпринять. С каждой новой изменой соратников фюрера он продвигался на ступеньку выше к своей заветной цели — стать «вторым человеком» в империи. Наконец на другой день после свадьбы, когда бойцы Красной Армии были уже в рейхстаге, Гитлер передал Геббельсу пост рейхсканцлера рухнувшей империи. Комедиантство продолжалось. Геббельс принял высокий пост, чтобы через сутки тоже отравиться.

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО

Какая-то жизнь шла без нас по земле, пока мы все еще вникали в подробности последних дней имперской канцелярии.

Однажды мы остановились на окраине Берлина, где размещалось несколько штабных отделов. Возле дома, который нам было указано занять, стояла тележка, груженная барахлом и продуктами, с красно-бело-зеленым итальянским флагом на передке. Привязанная к тележке корова терпеливо поджидала хозяев.

Мы поднялись в квартиру, из которой неслись звуки музыки. Все двери были распахнуты. В большой комнате сидели итальянцы в ободранной, грязной одежде, держа на коленях большие картонные коробки, и мечтательно слушали музыку. Их молодой вихрастый музыкант самозабвенно бил по клавишам. Вынутая из такой же, как у всех остальных, коробки, сидела перед ним на пианино великолепная кукла. По дороге сюда эти итальянцы шли мимо оптового склада игрушек, и каждый из них взял по кукле.

Они заметили нас и шумно поднялись с мест. В ответ на обращенные к ним по-немецки вопросы они упрямо замотали головами, не желая разговаривать на языке врага. Каскад жестов, возгласов обрушился на нас. Они что-то восклицали, прикладывая руки к сердцу. А музыкант схватил с пианино куклу и преподнес мне, и все зашумели и стали одобрительно шлепать его по спине.

Они уходили, напевая и унося большие картонные коробки. Их поджидала внизу тележка с поклажей и корова, которая должна была кормить своих новых хозяев в их долгом пути до Италии.

— Гитлер капут! — сказали они нам в качестве прощального привета.

Да, это несомненно было так.

Забегая немного вперед, скажу, что, когда расследование уже близилось к концу, разведчики подполковника Клименко задержали эсэсовца из личной охраны Гитлера — Гарри Менгесхаузена. Рослый малый, переодетый в штатское. На нем было кургузое пальтишко, явно с чужого плеча, из коротких рукавов торчали здоровенные руки. Майор Быстров расспрашивал его, я переводила. Мы сидели на бревнах во дворе.

«30 апреля я нес охрану имперской канцелярии, — рассказывал Менгесхаузен, — патрулируя по коридору, где расположена кухня и зеленая столовая. Кроме того, я вел наблюдение за садом, так как на расстоянии 80 метров от зеленой столовой находилось бомбоубежище фюрера.

Патрулируя по коридору и подойдя к кухне, я встретил шедшего на кухню своего знакомого — ординарца фюрера Бауера. Он сказал мне, что Гитлер застрелился в своем бункере. Я поинтересовался, а где жена фюрера. Бауер мне ответил, что она тоже лежит в бункере мертвая, но он не знает, отравилась ли она или же застрелилась.

С Бауером мы поговорили всего несколько минут: он спешил на кухню. На этой кухне готовилась еда для свиты Гитлера. Вскоре он опять прошел назад в бункер.

Сообщению Бауера о смерти Гитлера и его жены я не поверил и продолжал патрулировать на своем участке.

Прошло не больше часу после встречи с Бауером, когда, выйдя на террасу — она находилась от бункера метрах в 60—80, — я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант — штурмбанфюрер Гюнше и слуга Гитлера — штурм-

банфюрер Линге вынесли труп Гитлера и положили его в двух метрах от выхода, вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун, которую положили тут же. В стороне от трупов стояли две двадцатикилограммовые банки с бензином. Гюнше и Линге стали обливать трупы бензином и поджигать их».

Майор Быстров поинтересовался, видел ли кто-либо еще из охраны имперской канцелярии, как сжигали трупы Гитлера и Браун.

Менгесхаузен не знал этого точно. «Из всех часовых охраны ближе всех к бункеру Гитлера находился в это время я один». Он нагнулся и стал чертить на земле щепкой план сада.

Так было восполнено недостающее звено — участник или свидетель сжигания, который был так важен особенно на первом этапе задачи — при поисках Гитлера.

Менгесхаузену с его поста были видны только Гюнше и Линге. А в укрытии бункера, прячась от снарядов, Геббельс, Борман и доктор Штумпфеггер наблюдали, как поджигали трупы.

Неподалеку, на Александерплац, шел бой. Имперская канцелярия находилась под интенсивным обстрелом. Вой снарядов, грохот разрывов, взметающих столбы земли, треск и визг разлетающихся оконных стекол. Хлеставший ветер теребил одежду на трупах. Огонь метался, гас. Бензин прогорал... Снова обливали и поджигали.

Еще накануне Менгесхаузен сказал, что может показать место, куда спрятали трупы, забросав их поспешно землей, щебнем... Он не знал, что они уже извлечены оттуда.

Подполковник Клименко и группа бойцов

выехали с Менгенхаузеном в имперскую канцелярию.

Был составлен акт:

«1945 года, мая 13 дня г. Берлин

Мы, нижеподписавшиеся, подполковник Клименко... рядовые Олейник, Чураков, Новаш, Мялкин, с участием опознавателя Менгесхаузена Гарри, сего числа осмотрели место погребения трупов рейхсканцлера Адольфа Гитлера и его жены.

...Осмотром мест, указанных опознавателем Менгесхаузеном, была установлена правдивость его показаний... Тем более правдивы показания опознавателя Менгесхаузена, так как из названной им воронки 4 мая 1945 года нами были извлечены обгоревшие трупы мужчины и женщины и две отравленных собаки, которые другими опознавателями опознаны, как принадлежащие Гитлеру и его жене Ифе Браун, бывшему личному секретарю [1].

Глазомерную съемку места обнаружения трупов Гитлера и его жены и фотоснимки мест, названных опознавателем Менгесхаузеном, к акту прилагаются.

О чем и составлен настоящий акт в г. Берлине, имперской канцелярии».

Позднее мне сказали в штабе фронта, что направленный туда эсэсовец Менгесхаузен в своих письменных показаниях рассказал, что не только наблюдал, как сжигали фюрера, но и сам принимал в этом участие. В чем именно оно заключалось, я

---

[1] Имя и род занятий Евы Браун указаны ошибочно. — *Примеч. автора.*

тогда не узнала и сейчас не нашла в архивных бумагах его письменного о том рассказа.

Но вот в рукописи его начальника Раттенхубера читаю:

«Тела Гитлера и Евы Браун плохо горели, и я спустился вниз распорядиться о доставке горючего. Когда я поднялся наверх, трупы уже были присыпаны немного землей, и часовой Менгесхаузен заявил мне, что невозможно было стоять на посту от невыносимого запаха, и он вместе с другим эсэсовцем, по указанию Гюнше, столкнули их в яму, где лежала отравленная собака Гитлера».

И дальше, описывая поведение обитателей убежища, занявшихся хлопотами по подготовке к побегу, как только им стало известно о смерти фюрера, Раттенхубер еще раз упоминает Менгесхаузена:

«Меня поразила расчетливость эсэсовца Менгесхаузена, который, пробравшись в кабинет Гитлера, снял с гитлеровского кителя, висевшего на стуле, золотой значок в надежде, что в «Америке за эту реликвию дорого заплатят».

ЕЩЕ РАЗ ОСКОЛКИ АМПУЛЫ

Мы стояли в Берлин-Бухе. Здесь же 8 мая комиссия военных врачей под председательством подполковника медицинской службы Ф. И. Шкаравского в ХППГ № 496 произвела судебномедицинское исследование трупов.

«На значительно измененном огнем теле видимых признаков тяжелых смертельных повреждений или заболеваний не обнаружено», — записано в акте.

«Во рту обнаружены кусочки стекла, составляющие часть стенок и дна тонкостенной ампулы».

После подробного исследования комиссия пришла к заключению: «Смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями».

Никаких других признаков, которые могли вызвать смерть, установлено не было.

Нынешние западные исследователи, журналисты и мемуаристы упорно настаивают на том, что он застрелился. Одни — по неведению, другие — из желания хоть как-то приукрасить обстоятельства его конца.

Но так это было. Гитлер отравился.

Но ведь люди слышали выстрел и решили, что Гитлер застрелился, и эта версия быстро распространилась по рейхсканцелярии. Вот ведь и ординарец Гитлера Бауер, вскоре встретивший охранника Менгесхаузена, сказал ему об этом. Так говорили и другие приближенные фюрера.

Раздался ли на самом деле в комнате Гитлера выстрел, или это лишь почудилось тем, кто ожидал за дверьми конца?

Да, выстрел раздался. Но кто же стрелял?

Сейчас мы впервые разберемся здесь в этом.

При медицинском исследовании трупа Евы Браун комиссией в том же составе, тогда же, 8 мая, установившей, что смерть ее наступила тоже от отравления, были обнаружены «следы осколочного ранения грудной клетки с гематораксом, повреждением легкого и сердечной сорочки и 6 мелких металлических осколков».

Что бы это могло значить?

Показания начальника личной охраны Гитлера — Раттенхубера — проливают на это свет.

«Примерно часа в 3—4 дня, зайдя в приемную, — пишет он, — я почувствовал сильный запах горького миндаля. Мой заместитель Хагель с волнением сказал, что фюрер только что покончил с собой.

В этот момент ко мне подошел Линге, он подтвердил известие о смерти Гитлера, заявив при этом, что ему пришлось выполнить самый тяжкий приказ фюрера в своей жизни.

Я удивленно взглянул на Линге. Он пояснил мне, что Гитлер перед смертью приказал ему выйти на 10 минут из комнаты, затем снова войти, обождать в ней еще 10 минут и выполнить приказ. При этом Линге быстро ушел в комнату Гитлера и вернулся с пистолетом «вальтер», который положил передо мной на столе. По специальной внешней отделке я узнал в нем личный пистолет фюрера. Теперь мне стало понятно, в чем заключался приказ Гитлера.

Гитлер, видимо усомнившись в действии яда, в связи с многочисленными впрыскиваниями, которые на протяжении длительного времени ему ежедневно производили, приказал Линге, чтобы тот пристрелил его после того, как он примет яд... Присутствовавший при нашей беседе имперский руководитель гитлеровской молодежи Аксман взял пистолет Гитлера и сказал, что он его спрячет до лучших времен».

Раттенхубер не знал, видимо, еще одного обстоятельства, побудившего Гитлера дать этот приказ Линге. Дело в том, что, когда испытывали яд на двух собаках — суке и щенке, — отравленный щенок долго боролся со смертью, и в него выстрелили.

Это обнаружилось при вскрытии найденных в воронке умерщвленных собак, хотя поначалу этого не заметили.

Врачи пришли к такому выводу:

«Метод умерщвления собаки можно представить так: сначала ее отравили, возможно, небольшой дозой цианистых соединений и отравленную, агонизирующую пристрелили».

Гитлер, наблюдавший, как умирали отравленные собаки, видимо, не был полностью уверен, что яд подействует.

«Линге стрелял в Гитлера», — заявил Раттенхубер. Но, очевидно, рука у Линге дрожала, когда он стрелял в мертвого фюрера, и пуля, предназначавшаяся Гитлеру, попала в мертвую Еву Браун.

Когда умирают тираны, в первый момент наступает замешательство — возможно ли это, неужто и они состоят из смертных молекул?

Вслед за тем обстоятельства их смерти, если они хоть сколько-то смутны, начинают обрастать легендами. В случае с Гитлером для этого мог возникнуть простор.

Но получилось не так, как того добивался гросс-адмирал Дениц, которому Гитлер завещал всю верховную власть, объявивший заведомую ложь в специальном коммюнике: Гитлер пал в бою во главе защитников столицы германской империи.

И не так, как об этом заявил унесший всего лишь пистолет рейхсфюрер молодежи Аксман: он-де унес пепел Гитлера.

И не так, как описал конец Гитлера в своей сенсационной книге «Я сжег Гитлера» его шофер Кемпка, где выстрел и алые цветы в вазе слились в один букет.

И даже не так, как сказал слуга Линге.

И не так, как резюмировал в своем серьезном исследовании английский историк Тревор-Ропер: «Так или иначе, но Гитлеру удалось достичь своей последней цели. Подобно Аларику Готтскому, разрушившему Рим в 410 году и секретно похороненному своими сторонниками близ реки Бузенто в Италии, современный разрушитель человечества навсегда скрыт от людских глаз».

Красная Армия сквозь четырехлетие беспрерывных тяжелых сражений пришла в Берлин и освободила человечество от Гитлера.

Люди, которым было поручено установить истину о Гитлере, выполняли задание с чувством огромной ответственности. Всякая неясность на этот счет, казалось им, вредна, она будет плодить легенды, которые могут лишь способствовать возрождению нацизма.

«Гитлер — труп или легенда?» — так называлась переданная в мае 1945 года агентством Рейтер статья.

«Обследование этих человеческих останков, — писалось в ней, — представляет собой кульминационный пункт продолжавшихся целую неделю напряженных розысков среди развалин Берлина.

Розыски вели солдаты Красной Армии, добивавшиеся неопровержимых доказательств смерти Гитлера».

Мы надеялись, что со дня на день будут оглашены эти неопровержимые доказательства. Народ, отдавший все для победы над фашизмом, вправе узнать, что поставлена последняя точка в этой войне.

Ответить точно на вопрос, жив ли Гитлер, было важно также и для будущего Германии.

8 мая в нашей печати появилось сообщение о том, что Гитлер где-то скрывается.

К этому времени кое-кто из начальников, улавливающих идущие «сверху» флюиды, уже перестал испытывать интерес к выяснению обстоятельств смерти Гитлера и не слишком одобрял рвение, с которым добивались доказательств.

В поисках и на первом этапе расследования участвовало немало людей. Но к 8 мая разведчики уже разъехались по своим корпусам и дивизиям, и группа полковника Горбушина предельно сократилась. Собственно, кроме майора Быстрова в ней был еще только переводчик — я.

Мы думали: если не сейчас, по горячим следам событий, а лишь в какие-то отдаленные годы, в каком-то неясном будущем будут предъявлены всему миру, нашим потомкам добытые доказательства, окажутся ли они тогда достаточно убедительными? Все ли сделано для того, чтобы факт смерти Гитлера и факт обнаружения его трупа остались бесспорными и спустя годы?

Полковник Горбушин в этих сложных обстоятельствах решил добыть бесспорные доказательства.

РЕШАЮЩИЙ АРГУМЕНТ

В Берлин-Бухе 8 мая, в тот самый день, когда в Карлсхорсте состоялось подписание акта капитуляции Германии, о чем я еще не знала, полковник Горбушин вызвал меня и протянул мне коробку, сказав, что в ней зубы Гитлера и что я отвечаю головой за ее сохранность.

Это была извлеченная где-то, подержанная, тем-

но-бордового цвета коробка с мягкой прокладкой внутри, обшитой атласом, — такие коробки делаются для парфюмерии или для дешевых ювелирных изделий.

Теперь в ней содержался решающий аргумент — непреложное доказательство смерти Гитлера, которое к тому же могло быть сохранено на долгие годы. Во всем мире нет двух человек, чьи зубы были бы совершенно одинаковы.

Вручена эта коробка была мне, потому что несгораемый ящик отстал со вторым эшелоном и ее некуда было надежно пристроить. И именно мне по той причине, что группа полковника Горбушина, продолжавшая заниматься изучением всех обстоятельств конца Гитлера, сократилась к этому времени, как я уже сказала, до трех человек.

Остальные наши товарищи по долгому пути до Германии, встречая меня в этот день с коробкой и в столовой, и на работе, не догадывались о ее содержимом. Все, что было связано с установлением смерти Гитлера, держалось в строгом секрете.

Весь этот день, насыщенный приближением Победы, было очень обременительно таскать в руках коробку и холодеть при мысли, что я могу где-нибудь невзначай ее оставить. Она отягощала и угнетала меня своим содержимым.

Для меня к этому времени уже произошла девальвация исторических атрибутов падения третьей империи. Мы перегрузились. Смерть ее главарей и все, что ее сопровождало, уже казались чем-то обыденным.

И не мне одной. Телеграфистка Рая, с которой я виделась, когда меня вызывали в штаб фронта, примерила при мне белое вечернее платье Евы

Браун, которое ей привез из подземелья имперской канцелярии влюбленный в нее старший лейтенант Курашов. Платье было длинное, почти до полу, с глубоким декольте на груди, и успеха у Раи не имело. А как исторический сувенир оно ее не интересовало.

В тот же день, 8 мая, ближе к полуночи, собираясь лечь спать, заперев на ключ дверь, я соображала, как быть с коробкой. Противно было держать ее близко от себя. Комната, которую мне отвели внизу в двухэтажном коттедже, была маленькой: кроме кровати и тумбочки подле нее, в ней помещался еще только невысокий платяной шкаф. На него я и поставила коробку, чтобы, просыпаясь, я каждый раз могла бы удостовериться, что она тут. Но тут как раз я услышала свое имя и, схватив коробку, поднялась по очень крутой деревянной лестнице на второй этаж, откуда раздавались голоса, звавшие меня.

Дверь в комнату была распахнута. Майор Быстров и майор Пичко стояли возле приемника, вытянув напряженно шею.

Странное дело, ведь мы были готовы к этому, но, когда наконец раздался голос диктора: «Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил», мы замерли, растерялись. «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны...» Мы восклицали что-то, размахивали руками.

Молча разлили вино. Я поставила коробку на пол. Втроем мы молча чокнулись, взволнованные, встрепанные, притихшие, под грохот доносившихся из Москвы салютов.

Я спускалась по лестнице на первый этаж, при-

жимая к боку коробку. Вдруг меня точно толкнуло что-то, и я удержалась за перила. Чувство, которого мне никогда не забыть, потрясло меня.

Господи, я ли это стою тут в час капитуляции Германии с коробкой, в которой сложено то, что осталось неопровержимого от Гитлера?

Утром 9 мая все бурлило в поселке Берлин-Бух. По улице в обнимку ходили красноармейцы. В ожидании чего-то необыкновенного, какого-то неописуемого торжества и веселья, каким должен быть отмечен этот долгожданный День Победы, пока что кое-кто уже отплясывал, где-то пели. По улице поселка в обнимку ходили бойцы. Девушки-военные срочно стирали гимнастерки.

Мы с полковником Горбушиным выехали в это утро с новым заданием — нам надо было отыскать дантистов Гитлера.

В судебномедицинском заключении было сказано: «Основной анатомической находкой, которая может быть использована для индентификации личности, являются челюсти с большим количеством искусственных мостиков, зубов, коронок и пломб».

В акте, на который ссылалось это заключение, дано было подробное их описание.

Врачи отделили челюсти, сложили их в коробку, которая была теперь при мне.

Тягач тянул куда-то орудие, и на стволе, как и на борту повстречавшегося нам грузовика, еще сияли буквы: «Даешь Берлин!»

Красноармейцы, и пушки, и машины — все было на местах. Все осталось как прежде. И вместе с тем все внезапно становилось иным.

Пушкам — не стрелять больше, солдатам — не идти в атаку. Долгожданный мир пришел на землю, и не только те далекие бои на волжских берегах, но и совсем еще близкие бои в дни ни с чем не сравнимого подъема духа, когда рвались на Берлин, сегодня становились историей.

Накануне было тепло, совсем по-летнему, а теперь небо нахмурилось. День был сероватый, без солнца. Но цвели сады в берлинском пригороде, пахло сиренью, у дороги в траве, пестрившей желтыми цветами одуванчика, сидели двое немцев — парень и девушка. На их молодых, оживленных лицах было написано, что войне — конец, конец кошмару, смерти и что жить на свете — неимоверное благо.

С уцелевшей окраины мы снова въезжали в разрушенный Берлин. Кое-где дымилось. Воздух города еще был насыщен гарью сражений. В проломе стены мелькнуло закопченное, красное полотнище — самодельное знамя, одно из тех, которые бойцы изготовляли на подступах к Берлину и хранили за пазухой, чтобы водрузить в германской столице.

Поиски привели нас туда, где находятся корпуса университетских клиник «Шаритэ». Они были причудливо раскрашены цветными полосами для маскировки. Одной из этих клиник — уха, горла и носа, — нам сказали, руководил профессор-ларинголог Карл фон Айкен, лечивший Гитлера. Но в Берлине ли он, застанем ли мы его — в этом у нас не было уверенности.

Наконец мы въехали на территорию клиники. Сейчас здесь был госпиталь в основном гражданский. Он размещался в подземелье, где под сводчатыми низкими потолками слабо мерцали лам-

почки. Медицинские сестры в серых платьях, с измученными лицами сурово, безмолвно несли свои обязанности. На носилках переносили раненых.

Оттого, что находившиеся в этом мрачном, тесном подземелье раненые были людьми невоенными, жестокость окончившейся вчера войны ощущалась здесь особенно остро.

Здесь же находился профессор Айкен, высокий, старый, худой. Работая в ужасных условиях, он в опасные, трагические дни не покидал свой пост, не бежал из Берлина перед капитуляцией, как ни склоняли его к этому, и по его примеру весь персонал оставался на местах. Он провел нас в раскрашенное по фасаду здание его клиники, все еще пустовавшее. Здесь в его кабинете у нас состоялся неторопливый разговор.

Да, его действительно приглашали к Гитлеру по поводу болезни горла. Но это было давно, еще до прихода Гитлера к власти.

Айкен назвал врачей, находившихся до последних дней при Гитлере, в том числе профессора Блашке, личного зубного врача Гитлера, и распорядился, чтобы пригласили к нему в кабинет студента-практиканта, учившегося у Блашке.

Студент, в черном демисезонном пальто, без шляпы, с волнистыми темными волосами над круглым мягким лицом, был приветлив и общителен. Он сел с нами в машину и указывал дорогу. Оказывается, он болгарин, учился в Берлине, здесь его застала война, и он не был выпущен на родину.

По расчищенным кое-как центральным улицам шли автомашины, украшенные красными флажками в честь победы. Немцы разъезжали на велосипедах. Велосипедов было множество, с большими

багажниками. В багажнике или сидел ребенок, или были сложены пожитки. Уже неделя, как в Берлине нет войны, и всеобщее чувство облегчения, которое испытали жители Берлина в первые дни, уступило место насущным заботам, подступавшим к каждому. Людей в городе заметно прибавилось, они шли по тротуарам с детьми и тюками.

Мы въехали на Курфюрстендам — одну из фешенебельных берлинских улиц. Она была в таком же бедственном состоянии, как и остальные улицы. Но дом 213 или, вернее, то его крыло, где помещался частный кабинет профессора Блашке, уцелело. У подъезда мы столкнулись с каким-то человеком. Он был без пальто, в петлице его темного пиджака была вдета красная ленточка — знак дружелюбия к русским, приветствия и солидарности. Это было непривычно — в те дни в Берлине господствовал белый цвет капитуляции. Человек представился: доктор Брук.

Узнав, что мы ищем профессора Блашке, он поведал, что Блашке нет, Блашке улетел из Берлина в Берхтесгаден вместе с адъютантом Гитлера.

Мы поднялись за ним в бельэтаж, и доктор Брук провел нас в многооконный, просторный зубоврачебный кабинет.

Выяснив, что Брук тут постороннее лицо, полковник Горбушин спросил его, не знает ли он кого-либо из сотрудников Блашке.

— Еще бы! — вскричал доктор Брук. — Вы имеете в виду Кетхен? Фрейлейн Хойзерман? Она у себя на квартире в двух шагах отсюда.

Студент вызвался сходить за ней.

— Паризерштрассе, тридцать девять — сорок, квартира один, — сказал ему Брук.

Он усадил нас в мягкие кресла, где до нас еще совсем недавно сиживали нацистские главари — пациенты профессора Блашке. Он с 1932 года бессменно был личным зубным врачом Гитлера.

Брук тоже уселся в одно из кресел. Мы узнали от него, что он зубной врач, раньше жил и работал в провинции, а ассистентка профессора Блашке, Кете Хойзерман, за которой пошел сейчас студент, была у него ученицей, а впоследствии помощницей. Это было до захвата нацистами власти. Потом она и ее сестра помогали ему укрываться, потому что он еврей и ему приходилось жить под чужим именем.

Вошла стройная, высокая и привлекательная женщина в синем пальто, повязанная платочком, из-под которого выбивались светлые волосы.

— Кетхен, — сказал ей Брук, — вот русские. У них какая-то нужда в тебе.

Но она, не дослушав его, заплакала.

— Кетхен! — сконфуженно всплеснул руками доктор Брук. — Кетхен, ведь это же наши друзья.

Брук был значительно ниже ее ростом, но взял Хойзерман за руку, как маленькую, и гладил рукав ее синего пальто.

Эти два человека представляли собой разные полюсы фашистского режима. Она, принадлежа к обслуживающему Гитлера персоналу, была на привилегированном положении. А он — человек вне закона, гонимый — нашел в ее семье поддержку.

Я смотрела на них и думала: жизнь, многообразная, богатая, пестрая, не втискивается в предначертанные ей нацизмом каноны.

Мы разговорились с Кете Хойзерман. Она держалась непринужденно, откровенно. Ей было тридцать пять лет. Жених ее, учитель, а теперь унтер-

офицер, находился где-то в Норвегии, и от него давно не было известий. Профессор Блашке предлагал ей лететь в Берхтесгаден, но она отказалась, потому что зарыла свои платья в землю под Берлином, чтобы они уцелели, если дом на Паризерштрассе рухнет или сгорит, и ей было жаль бросить их там.

Она рассказывала мне некоторые подробности о Гитлере, о семье Геббельсов. Но обо всем этом мы говорили впоследствии.

Тогда, в кабинете профессора Блашке, полковник Горбушин попросил меня спросить ее, имеется ли здесь история болезни Гитлера.

Хойзерман ответила утвердительно и тотчас достала ящик с карточками. Мы с волнением следили за ее пальцами, перебиравшими карточки. Мелькали истории болезни Гиммлера, Лея, шефа прессы Дитриха, Геббельса, его жены, всех детей...

В кабинете профессора Блашке воцарилась такая тишина, что слышно было, как доктор Брук, не знавший, что привело нас сюда, вздыхает, желая одного — чтобы все уладилось как нельзя лучше. А студент, уже кое о чем догадывающийся, заразился нашим напряженным ожиданием и стоял неподвижно, склонив набок свою курчавую голову.

Наконец нашлась карточка — история болезни Гитлера. Это уже кое-что! Но рентгеновских снимков не было.

Хойзерман высказала предположение, не находятся ли они в другом кабинете Блашке — в самой имперской канцелярии. В последние дни были изготовлены коронки, которые не успели надеть Гитлеру.

Мы простились с болгарским студентом и с док-

тором Бруком и помчались вместе с Кете Хойзерман снова в имперскую канцелярию.

По дороге она рассказывала, что выезжала с Блашке в Берхтесгаден и там ее пациенткой была Ева Браун. В Берлине ее существование тщательно скрывалось до самых последних дней и делались постоянные заявления, что фюрер не курит, не пьет и никаких земных радостей не знает, а только служит народу. Это было краеугольным камнем пропаганды.

Снова имперская канцелярия — все в метинах от снарядов и пуль, почерневшее от копоти, зияющее проломами стен, длинное на целый квартал растянувшееся здание с единственным балконом — архитектурное выражение «единой германской воли», которая в лице фюрера появлялась на балконе в дни нацистских торжеств.

Мы оставили машину и молча шли втроем по нерасчищенной, безлюдной Фоссштрассе.

Над входом барельеф — фашистская эмблема: распластанный орел, в когтях держащий свастику. Через несколько дней этот барельеф был сбит и перевезен в Москву, в музей Советской Армии, где его можно увидеть и сейчас.

Часовой приставил винтовку к ноге, но преградил нам путь — ему было сказано никого не впускать без специального пропуска коменданта Берлина.

Горбушин с трудом настоял, чтоб нас впустили. Мы отворили тяжелую дубовую дверь. Направо — актовый зал: дверь вышиблена, на полу свалившиеся люстры. Налево — пологий спуск в бомбоубежище. Здесь до 20 апреля находился Гитлер, пока наша артиллерия не дала залп по центру Бер-

лина. Тогда он перебрался в новое убежище — «фюрербункер» — в саду, опасаясь, как бы не оказаться заваленным рушившейся под ударами советских снарядов рейхсканцелярией.

Мы прошли по сводчатому вестибюлю и спустились вниз. У нас на троих был всего один фонарик, и тот слабо светил. Было темно, пустынно и жутковато... В радиостудии, откуда вещал Геббельс, спал красноармеец в надвинутой на глаза каске.

Ориентировалась тут только Хойзерман. Она ушла отсюда, из этой «фараоновой гробницы», за три дня до падения Берлина.

Кете Хойзерман привела нас в маленький закуток, где недавно помещался ее шеф, профессор Блашке, пока он не улетел из Берлина.

Карманный фонарик неярко выхватывал из темноты зубоврачебное кресло, софу с откидывающимся у изголовья валиком, крошечный столик. Что-то валялось на полу — фотография: покойная овчарка фюрера на прогулке с его адъютантом. Было сыро, пахло плесенью.

Мы искали в ящике с картотекой, в столе, в какой-то тумбочке, тоже оказавшейся здесь.

С помощью Хойзерман мы нашли рентгеновские снимки зубов Гитлера и золотые коронки, которые не успели надеть ему. Нам повезло, нам отчаянно повезло, что ураган, пронесшийся несколько дней назад здесь в подземелье, не задел этого закутка.

Вдруг из глубины коридора донеслось: «Есть на Во-олге утес!» Голос был одинокий. Это загулявший солдат пил дорогие вина, которыми глушили отчаяние выбитые им отсюда немецкие генералы. Его недосчитывались в части, а он гулял себе седьмой день, спал, просыпался и снова пил во славу нашего

оружия и за упокой тех, кто не дошел до имперской канцелярии.

Мы уходили, унося очень важные находки.

По пустому подземелью разносился одичавший голос, хмельной от вина, от торжества и горечи: «...диким мо-охом оброс!»

Только мы сели в машину — забарахлил мотор. Шофер Сергей задрал капот, мы вышли из машины и очутились у самых Бранденбургских ворот.

Мне представилось, как между шестью колоннами этих ворот шли с факелами отряды нацистов; на балконе «Кайзергоф» силилась высунуться из-за толстых спин соратников тщедушная фигурка Геббельса. Гитлер простирал над толпой руку. Мерцали факелы пожарищ, разрушений, книжных костров, зажженные нацистами и пожравшие их самих. Недаром «факельщиками» в немецкой армии назывались солдаты, которым вменено поджигать города и селения. Как злобно метались они среди людского горя в ржавой униформе.

Мы опять немного отъехали, когда вдруг грохот орудий разорвал установившееся безмолвие последних дней.

В первое мгновение меня жуть пробрала. Что это? Неужели опять война?

Я не сразу поняла: да ведь это салют!

Над страшными развалинами, над неразвеянным дымом и пылью боев, над мрачным рейхстагом, над весенней травой неслись вверх трассирующие пули, и закопченное небо вспыхивало цветными огоньками. Салютовали тяжелые орудия и ручные пулеметы; палили из автоматов. Гул разрастался, и все вокруг дрожало, как в часы сражений.

Это был благословенный день нашей победы над

фашизмом — над низостью, насилием, растлением человека...

Мы вышли из машины. Кете Хойзерман что-то говорила. Стреляли зенитки, осколки цокали по развороченной мостовой.

Мы молча стояли, взволнованные до слез, оцепеневшие от нахлынувшего чувства счастья и щемящей боли за тех, кто не дождался победы.

БЕЗ ДЕТЕКТИВА

Любители детектива, возможно, будут разочарованы: нет ни засад, ни выстрелов из-за угла, ни взломанных сейфов. Добавлю к огорчению тех, кто легенды предпочитает истине: не было и двойников.

На этом этапе нашей задачи нам сопутствовали удачи. Как всегда, было и немало случайного.

С помощью Хойзерман мы смогли добыть важнейшие, неопровержимые доказательства смерти Гитлера.

Кете Хойзерман сначала описала зубы Гитлера по памяти. Это было в Берлин-Бухе. Беседовали с ней Горбушин, Быстров. Я переводила. Я просила ее называть зубы не специальными терминами — резец, клык и т. д., опасаясь, что не смогу соотнести немецкие и русские специальные названия, а просто по номерам. Поэтому эта запись выглядит так:

«Верхняя челюсть Гитлера представляла собой золотой мост, который опирался на 1-й левый зуб с фенстеркоронкой, — говорила Кете Хойзерман, —

на корень второго левого зуба, на корень первого правого зуба и на третий правый зуб с золотой коронкой. . .»

Потом с Хойзерман беседовали специалисты, и в акте было сказано, что в разговоре с главным судебным экспертом фронта подполковником медицинской службы Шкаравским, «имевшим место 11.5.45 г.», гр. Хойзерман Кете «детально описывала состояние зубов Гитлера. Ее описание совпадает с анатомическими данными ротовой полости вскрытого нами обгоревшего неизвестного мужчины».

10 мая Хойзерман рассказывала нам:

«Осенью 1944 года я принимала участие в удалении Гитлеру шестого зуба слева в верхней челюсти. С этой целью я с проф. Блашке выезжала в ставку Гитлера в район гор. Растенбург. Чтобы удалить этот зуб, профессор Блашке при помощи бормашины распилил золотой мост между 4-м и 5-м зубами в верхней челюсти слева. При этом я во рту Гитлера держала зеркало и внимательно наблюдала за всей процедурой».

Можно было сопоставить это с медицинским актом от 8 мая, где говорилось: «Мостик верхней челюсти слева за 2 малым коренным зубом (4) вертикально спилен».

И главное — с самими зубами. Хойзерман осмотрела их и признала — это зубы Гитлера.

Зубной техник Фриц Эхтман, выполнявший протезные работы для Гитлера, также сначала представил описание зубов Гитлера по памяти, а затем имел возможность осмотреть их в Берлин-Бухе.

При этом был корреспондент «Правды» Мартын Мержанов. Еще 2 мая он один из первых побывал на том месте, где был обнаружен мертвый Геббельс, и помогал составить акт.

Фриц Эхтман — небольшого роста, бледнолицый человек лет тридцати с лишним. Его гладкие темные волосы, казавшиеся мокрыми, свешивались ему на глаза, и он их то и дело отводил рукой, рассматривая лежавшие перед ним на столе зубы Гитлера.

Он узнал их.

Это была встреча одного из немцев со смертью Гитлера. Но слишком много пережил сам Эхтман, находясь с женой и дочерью безвыездно в Берлине, чтобы его что-либо потрясло. А вот, взглянув на зубы Евы Браун, он пришел в возбуждение.

«Эта конструкция зубного моста является моим личным изобретением, — записала я тогда с его слов, — и больше никому, кроме Браун, я такого моста не изготовлял и в практике своей работы подобной конструкции прикрепления зубов не встречал... Мой первый мост Браун отвергла, потому что, когда она раскрывала рот, было видно золото. Я изготовил второй мост, устранив этот недостаток. Я применил оригинальный способ...»

Расследование было закончено. Зубы Гитлера — неопровержимое доказательство его смерти — вместе с материалами расследования отправлены в Москву.

Уже не дымили больше наши солдатские кухни на берлинских улицах. Рядом с девушкой-регулировщицей стоял теперь на перекрестках огромный немецкий полицейский в белом балахоне.

Двадцать дней развевалось над рейхстагом водруженное под огнем знамя, а затем как драгоценная реликвия было отправлено в Москву.

Солнце пригревало развалины... Если прислушаться, сыплется каменная труха. Руины.

Граждане Берлина расчищали улицу за улицей. В развалинах, как вздох облегчения, слышалась одна и та же фраза: «Гитлер капут».

Покончено с Гитлером. Изувеченный огнем труп, сброшенный в воронку, наскоро забросанный землей. История свершила в этот час свой грозный и справедливый суд.

Покончено с Гитлером. Больше нельзя жить по-старому. Надо искать новые пути. Труднее всего немецкой молодежи. Что она знала? «Хайль фюрер!» да стихи Гесса в школьной хрестоматии: «Гей, француз, тебе злой утренний привет! Вы там должны умереть, чтобы мы могли жить». Да «нацистскую конфирмацию» — когда родился Гитлер и его родители. Да «Майн кампф» — подарок новобрачным. И солдатскую каску на голову.

Теперь им предстояло опомниться, содрогнуться, искать и все открывать для себя заново.

С каждым днем все больше народа на улицах города. Кое-где уже работали театры, и народ валил смотреть наспех срепетированную безделушку, лишь бы пьеса без Гитлера, без войны. Расходясь, напевали песенку из спектакля.

А новые слова, новые песни, новые представления еще только-только рождались. И рядом с привычным: «Mein Friseur ist und bleibt Otto Bauer» — «Моим парикмахером был и останется Отто

Бауэр» — приколачивали новый плакат: «Wer Deutschland liebt, muβ Faschismus hassen» — «Кто любит Германию, должен ненавидеть фашизм».

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Заканчивая эти записки, я снова, как двадцать лет назад, сижу над личными бумагами Гитлера.

«Дорогая сестра! — пишет он 13 февраля 1932 года. — С этим письмом я посылаю к тебе своего личного секретаря господина Гесса», чтобы он раздобыл «через какое-либо компетентное австрийское правительственное учреждение» документ, отводящий от Гитлера обвинение в дезертирстве из австрийской армии в 1913 году.

Вот черновики трех вариантов его письма старому Гинденбургу, своему сопернику на выборах президента в марте 1932 года. В них приниженность, лесть и угрозы. И приложена справка, что он-де не дезертир, схлопоченная ему Гессом в «компетентном австрийском правительственном учреждении».

Черновик письма от 16 октября 1932 года фон Папену, тогдашнему рейхсканцлеру. В левом углу крупно, размашисто чернилами: «Конфиденциально!» Гитлер излагает наглые условия, при которых готов вступить в политические переговоры, и кисло заключает по поводу неудачи на президентских выборах: «Я мало-помалу научился ставить великое дело, которому служу, выше своего собственного жалкого я».

Машинописный текст предвыборного воззвания Гитлера к национал-социалистам, правленный им

карандашом, готическим шрифтом, 22 февраля 1933 года:

«Враг, который 5 марта должен быть низвержен, — это марксизм! На нем должна сосредоточиться вся наша пропаганда и вся наша предвыборная борьба.

Если центр в этой борьбе своими атаками на наше движение будет поддерживать марксизм, тогда я лично при случае расправлюсь с центром, пресеку его нападки и покончу с ним».

«Родословная Адольфа Гитлера» — это выписка из «Ежемесячного вестника», издаваемого геральдическо-генеалогическим обществом «Адлер» в Вене, за 1932 год. Это «строго объективное исследование о предках Гитлера», предпринятое некиим ученым мужем «в связи с разнообразными сведениями о его происхождении» и устанавливающее, что гитлеровская родословная состоит «исключительно из немецких элементов».

Этим «научным» изысканием открывается папка, в которой собраны самые важные личные бумаги фюрера.

Вот описи приобретенных им картин, они упакованы в ящики и подготовлены к вывозке.

Из крупных мастеров тут Беклин — этюд — и Ходовецкий — портрет Фридриха II. Преимущественно же художники дюссельдорфской школы — натуралистические пейзажисты. И еще — старые сентиментальные жанристы, а также художники новой фашистской формации с их картинами: «Mutter des Führers» («Мать фюрера»), «Вид с высоты — Адольф Гитлер», «Старый облик Берхтесгадена», «Факельное шествие 30 января 1933 года».

Для этой коллекции Гитлер намеревался выстроить в городе Линце картинную галерею, о чем он вспомнил в завещании.

Не многого лишился Линц, недосчитавшись собрания картин Гитлера, который за профнепригодность в свое время был изгнан из художественного училища.

Описи ящиков с картинами обозначены буквами алфавита и, начиная с ящика П, содержат, вперемешку с бюстом Вагнера, или цитрой, или безымянной «маленькой картиной» и настенными тарелками, другое имущество фюрера: подушек — 13 штук, скатертей — 34 штуки, 1 серебряную сахарницу, 3 полотенца для массирования, 3 кухонных полотенца, 1 ковер для ванной, 1 дорожку, 6 шалей, 1 чехол на перину с кружевной вставкой, такую же наволочку, 2 подушки для глажки, кружево, 1 полотняный столовый набор (12 салфеток и 1 скатерть), 2 дамасковые скатерти, 1 дамасковый чехол для перины. . . и т. д.

Эти описи, взятые с собой в последнее их убежище, схожи с описями Магды Геббельс. Как и дневник д-ра Геббельса родствен по духу бумагам Гитлера.

Каким ничтожным предстает Гитлер вне ореола власти и мистификаций! Наверное, это закономерно, что идея фашизма персонифицировалась именно в нем. Но как это чудовищно, что такой человек завладел судьбой Германии, угрожал всему миру!

Безграничная власть, мания величия и мания преследования. Ответственный за его охрану Раттенхубер рассказывает в своей рукописи: «Даже белье, полученное из стирки, он решался надевать

лишь после того, как оно проходило обработку при помощи рентгеновского аппарата... Также просвечивались рентгеном письма, адресованные фюреру... В его личных апартаментах было множество сигналов тревоги. Даже в его кровати. Никто, за исключением самых близких ему людей, не мог попасть без предварительного обыска в апартаменты Гитлера».

В бумагах Гитлера есть «проект» его письма президенту германского сельскохозяйственного совета:

«Можно с уверенностью сказать, что прусская государственная идея уже создала в виде прусского государства пример самого совершенного государственного социализма новейшей истории».

Так сформулирован идеал.

А вот и метод в достижении этого идеала. Он высказан в имеющемся тут же в папке воззвании к национал-социалистам 26 июля 1933 г.:

«Наконец достигнута цель, которой мы добивались в течение 14 лет, — молодежь Штальхельма подчинена мне, как высшему фюреру СА... Будущность нашего народа не зависит от того, сколько союзов стоят за эту будущность, а от того, удастся ли подчинить единоличной воле желания многих».

И чтобы добиться бездумного подчинения масс единоличной воле «вождя», попрана, уничтожена личность каждого.

Запрет на мысль и атрофия ее. Произвол и тирания. Апелляция к низменным инстинктам.

«Ein Volk, ein Reich, ein Führer!»[1] — этот фашистский девиз, окантованный черной рамочкой, я увидела прошлой осенью в дежурке барака Освенцима, того крайнего в бесчисленном ряду бараков, где камеры пыток и откуда один только выход — к стене расстрела.

Какой неотвратимой логикой связаны этот девиз и этот барак!

Трагический опыт Германии не должен быть забыт. Пусть же народы ни в часы своего исторического величия, ни в часы национальных бедствий, смятения не поддаются соблазну идеи «сильной власти».

Она способна привести их к катастрофе, еще более сокрушительной в дни нашей цивилизации. Ведь владей Гитлер «чудо-оружием», о котором твердилось немцам до последнего часа, он не преминул бы пустить его в ход против человечества.

---

[1] «Один народ, одна империя, один фюрер!»

РАС СКА ЗЫ

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

1

Деревня, в которой мы стоим, отбита у немцев еще зимой, в марте. Уцелело в ней не больше трети изб. Это все, что удалось спасти от пожара. Живет здесь полуколхозный-полугородской люд — до войны почти в каждой семье кто-нибудь работал в Ржеве. Теперь в уцелевших домах и банях настилают солому на пол. Спят вповалку. Тут же возле себя держат мешки с зерном, узлы с барахлишком.

Хозяин дома, где я ночую, старик Петр Тихонович недоволен:

— Набились. Как вши на гашнике.

Его жена, Анна Прохоровна, относится к своим погорельцам куда терпеливее:

— Что ж теперь делать. Надо какой-никакой выход находить.

К ее обычным заботам на огороде и по дому прибавились новые, и в этой теснотище ей надо приноровиться, чтоб еще и людям помочь: то картошки наварить, то одежонку, полусгнившую в ямах, перетряхнуть и обсушить.

— Ето сделаешь и ето, — объясняет она мне, — и все дела!

Прошлым летом, когда началась война, старика ее забирали на оборонные работы под Смоленск.

— Мы копали окопы, а самолеты его тут безобразничать стали очень, — рассказывал старик. — Наши отступали, дошли до нас. «Как вы безоружные, беззащитные, идите домой». Тут такая погода пошла, самолетам нельзя было распространиться. . . И нашим полегше стало отступать. . .

Он уже два раза рассказывал мне это. И оба раза присутствовавшая тут же Анна Прохоровна стояла неподвижно, сложив на животе руки, и взгляд ее, обычно легкий, заволакивало угрюмой тоской.

Старик доходил до этого места и — стоп. Тут и весь рассказ его.

Но о том, как отпустили с оборонных работ людей по домам, он знал с чьих-то слов. Его же самого, еще перед тем как самолеты не смогли больше «распространиться», жахнуло взрывной волной, и он очутился в госпитале. Эвакуироваться с госпиталем он отказался и ушел домой недолеченный, когда немцы уже были в его деревне. Правая рука его повисла плетью.

Обо всем этом он рассказывал немногословно и охотно, но это был другой, самостоятельный рассказ, вроде бы не связанный с первым и напрашивающийся на особый вывод.

Выходило, что он как бы побывал на фронте, хотя ему это и не предназначено по возрасту, и стал в один ряд с теми, кого война калечит в огне.

— Раскололась посуда, не склеишь, — говорит

Анна Прохоровна. Относится ли это к его инвалидности или к их жизни — одно и то же.

Он был плотник, нанимался строить избы, доставлял в семью копейку. Она работала в колхозе и дома. То, что было издавна заведено у них, теперь нарушено навсегда. А другого уклада они не знали и заново ничего построить не могли. Вряд ли они так это сами себе объясняли. Но так это было. И жили они сейчас разрозненно, каждый сам по себе, и поругивались.

Надеяться, что после войны все опять пойдет на лад, теперь не приходилось, прежняя жизнь их осталась за той, прошлогодней чертой.

Вчера вдруг она похвалила мне мужа. Умный он был. И жалел ее.

— Желанный такой, всем желанный был, — сказала она о нем вроде как не о живом. — Дети у нас не жили, так что мы все одне и одне.

У кого-то там и пьянка и драка, а у них — нет.

— А пьяный он еще лучшее. Трезвый иногда разволнуется. А пьяный — ему все хорошо. Скажет: «Нас только три зернышка». Это он, я и его мать.

Она раскраснелась, оживилась. Я сказала, что она, видно, была красивая. Она согласилась.

— У меня душа хорошая.

Но тут как раз он и появился, Петр Тихонович.

— Задымил, безделяй, — строго сказала ему Анна Прохоровна.

К тому урону, какой наносит ее хозяйству племя погорельцев, Анна Прохоровна не присматривается. Война ведь кругом. А вот за Анциферовой, живущей в соседней деревне, издалека поглядывает.

— Я намеднись сено шевелю, а она на крылечке лежит. Как берегут-то тебя. Двое детей, все дела не сделаны. А она— наплевать.

В четырех километрах от передовой, почти что под носом у немцев идет жизнь.

2

Анциферову я увидела, возвращаясь от топографов с новыми картами. Она шла глядя себе под ноги, кутаясь в серый платок. Чуть отставая от нее, плелись женщины — враждебный эскорт. Она поднялась на крыльцо и, не обернувшись, скрылась в сенях — только взвизгнула подскочившая и тут же упавшая щеколда.

Провожающие стали неподалеку от дома, и одна из них, долговязая, в немецких сапогах с короткими голенищами, погрозила на дверь:

— Покаталась на рысаках, попила кровушки нашей — и хватит!

Я тоже поднялась на крыльцо и вместе с замешкавшейся в сенях женщиной вошла в дом и слышала, как она спросила с порога, ни к кому не обращаясь:

— Велели прийти сюда?

— Садитесь, Анциферова, — сказал майор Курашов.

Она села и слегка спустила с плеч платок.

— Вы когда перешли линию фронта?

Она сидела очень прямо, очень женственно, придерживая на груди охватывающий ее по спине платок, и смотрела поверх головы майора, не отвечая.

— Пришла чего? — спросил капитан Голышко.

— Детей поглядеть.

— Поглядела?

Новые карты я сложила стопкой на лавке. В этих картах — наша надежда на продвижение: новые названия, новые высотки и болота. Я застучала на машинке. Мне нужно было перевести приказ противника о запрещении местным жителям появляться на улице К. Маркса и прилегающих к ней кварталах. На основании таких данных капитан Голышко строит догадки о характере немецкой обороны в этом районе Ржева.

Останавливаясь, я слышу голос Курашова:

— Как же так с ним получилось, Анциферова? С вашим мужем?

Она смотрит в окно и мнет концы платка.

— Его обязали... По его специальности...

— По специальности он — изменник родины, — вмешивается Голышко. — Он ведь в Ржевской управе служит, начальником транспортного отдела?

Она молча кивает, по-прежнему глядя в окно.

— Как же он отпустил тебя? — спрашивает Голышко.

— Не отпускал. Сама.

— Что-то не верится. И смотрите — цела-целехонька, фрицы ее не прихлопнули.

Она молчит — не подступишься.

— Не побоялась, значит, ни немцев, ни нас.

— Дети ж мои тут, у моей матери в деревне. Еще в марте их у немца отбили... Где мои дети, там и я должна быть...

— До войны он привлекался? — спрашивает ее Голышко. Он ясен и строг и не верит ей, считает — она прислана немцами.

— Надо будет вам обратно идти, — вдруг

говорит молчавший майор Курашов. — Непонятно разве?

Она, глубоко вздохнув, кутается в платок и встает.

— Хоть бы вы, товарищ командир, арестовали ее хорошенько! — весело говорит Голышке толстогубая девка из группы поджидавших у крыльца.

Анциферова в сером платке на плечах, в черных полуботинках на венском каблуке уходит домой в деревню Виданы.

— Вам что, легче б с этого стало?

— А то что ж, — утвердительно, быстро произносит толстогубая, косясь куда-то в сторону через плечо себе.

Голышко разъясняет, хотя и сам он сомневается, так ли это: Анциферова, мол, за мужа не в ответе.

Долговязая женщина в немецких сапогах, слушая его, кивает.

— Правильно! Пра-ильно, — на разные лады подтверждает она недоверчиво.

3

Привели немца — молодого, кудлатого, без пилотки, в растерзанном кителе. Разведчики пошли в дом к майору Курашову, а его оставили на попечение часового, тощего, большеносого малого, прозванного Гоголь.

Немец сидел на крыльце, зажмурившись на солнечном припеке. Часовой с автоматом ходил туда-сюда мимо крыльца, остановился возле немца.

— Ты что, спать сюда прибыл? — И ахнул. — Что делается! Вши на нем!

Уже собралось несколько человек, хмуро уставились на немца. Что делается! Средь бела дня по плечам, по вороту немца ползают вши. Не в диковинку, а все же на немце лестно увидеть ее и жутко: до такого никто себя не доводил.

Вшивый фриц, взъерошенный, грязный, в смешных сапогах с короткими голенищами, какие у нас в хорошее время никто и надеть не согласился бы.

Моя хозяйка Анна Прохоровна тоже тут, она в чистом головном платке, сложив на животе руки, смотрит на немца тихо, без жалости.

— Лоп-лоп-лоп. Залопотал! — передразнивает его.

— Может, что сказать ему надо. Без языка ведь. Веди ж его! — понукал меня Петр Тихонович.

Вокруг загудели. Такого пусти в дом — как же. Вшей распустит, только держись.

— Садитесь, — говорю немцу.

Он опять садится. И я сажусь на ступеньки крыльца. Кто такой, откуда родом, давно ли воюет.

Люди, помешкав, деликатно расходятся. Остаются только Анна Прохоровна и Петр Тихонович — на правах моих личных знакомых.

Немец этот на войне с самого начала «кампании». Был в Польше. Потом — поход на Запад.

— В Париж мы прибыли восьмого августа сорокового года. С Францией уже было покончено, и мы несли постовую службу у морского министерства, там размещались наши генералы.

— Хороший город Париж? — вдруг глупо так спрашиваю.

— О, прима штадт, вундербарштадт!

Анна Прохоровна и Петр Тихонович терпеливо смотрят на нас.

Разруха, муки, смерть и бессилие — все воплощено сейчас в этом немце. Чудно́! И никак не вяжется. Такому ведь дать хорошенько — от него мокрое место останется.

Молчим. Немец дергает вверх рукав кителя, обнажается темная от грязи рука с белой браслеткой — след от часов. Он тычет пальцем в эту браслетку, машет рукой в сторону передовой — сняли с него в русской траншее.

Анна Прохоровна говорит тихо, возмущенно:

— О часах, господин какой, заскучал. Паразит бессовестный.

4

— Здравствуйте!

Анциферова. Другая совсем, чем в прошлый раз, какая-то пестрая. В блестящих черных резиновых ботах-сапожках до самых колен — предмет фатовства здешних довоенных модниц. В берете. Платье клёш в ярких разводах. Жакетка перекинута через руку.

Майор вскочил, поздоровался, задвигал стулом, предлагая Анциферовой присесть.

— Не стоит беспокоиться. Я постою. — И быстро покосилась в мою сторону.

Майор поискал кисет, а сворачивать папиросу не стал и вдруг резко так спрашивает:

— Надумали?

Она, улыбаясь, смотрит с вызовом ему в лицо.

— Так ведь схватят же меня. — И, стараясь не замечать тут третьего человека, выходит на сере-

дину избы, улыбаясь майору. В немигающих глазах затаенный вопрос: неужели не нравлюсь?

Майор вспыхивает, как девушка. А я готова провалиться под пол, чтоб не наблюдать тут за ними.

Гулко бьют орудия на передовой, подрагивают оконные стекла. Майор рассеянно тренькает пальцами по пуговицам гимнастерки, зажимает в кулак портупею и, наклонив голову, строго, испытующе смотрит мимо Анциферовой в стену.

— Надеюсь, вы ни с кем не делились. Это в ваших же интересах. Тут надо отчет себе крепко отдавать.

Анциферова, слушая, медленно меняется в лице.

— А если не пойду? — тихо, вроде пробно спрашивает, и губы у нее дрожат, силясь сложиться в улыбку.

— Нет у вас другого выхода, Анциферова.

От его слов, глухо, доверительно произнесенных, мороз по коже дерет. А она поняла ли? Ведь ее, как жену изменника родины, перешедшую при неясных обстоятельствах линию фронта, ждет арест. Жила с мужем почти всегда врозь: он в городе, она у матери в деревне, а теперь вот — накрепко одной веревочкой оказались связаны.

Мой хозяин Петр Тихонович говорит об Анциферовой одобрительно:

— Подобута, пододета. Идет всегда, можно сказать, со звоном.

Но остальные дружно осуждают ее. Это ведется еще с прошлых лет. О муже ее хотя в деревне и ходят разные слухи, но дело все же не только в нем. Тем более что он сам от нее натерпелся.

Насолила она своим деревенским тем, что, выйдя замуж в город за инженера, она большей частью жила по-прежнему у матери беззаботно и бездельно — на мужнины деньги, а к ее дому подкатывала время от времени легковая машина, было заметно: какие-то кавалеры пьют, гуляют. Словом, оставаясь в деревне, она была «городской» в худшем смысле этого слова. Ее в глаза корили, ей окна побить хотели. А ей хоть бы что.

Ну, что было, то было, а теперь ей осталось одно — идти через линию фронта.

— Ваш муж еще может искупить свою вину. Это во многом зависит от вас. Я надеюсь, вы советский человек, — убежденно говорит майор.

Как напутствует майор разведчиков — это я видела, а вот жену изменника родины, которая к тому же нравится ему, — такого видеть не приходилось.

— За себя я не боюсь. Наплевать.

— Тогда что же?

Она держится рукой за спинку стула; потухшее, отчужденное у нее лицо.

— Ребят жалко.

Молча, отрешенно, опять как в тот раз, смотрит перед собой Анциферова.

— Ладно, — вдруг просто говорит она. — Раз нельзя по-другому, пусть так.

Майор насупленно роется в кисете.

— Отдыхайте пока. Пришлем за вами. Когда обстановка позволит вам идти, тогда обо всем и потолкуем. Хлеб дома есть?

Она уходит, пожав ему руку.

Майор упирается лбом в подрагивающее оконное стекло, смотрит, как удаляется по улице Ан-

циферова в черных резиновых ботах, с жакеткой через руку.

Своей властью майор Курашов не имеет права посылать Анциферову в тыл противника. Надо иметь на это разрешение штаба фронта. Но он азартный, рисковый человек и не станет разводить канитель, испрашивать разрешения, томиться в неизвестности в ожидании ответа — топить дело. Возьмет и пошлет.

5

В последние дни до того подчистили в штабе — отправили на передовую еще человек сто, — что ни охранять немца, ни конвоировать его в тыл некому. Ожидаются бои, подвалит пленных, тогда и отправят — не снаряжать же конвой для одного. Так что немец пока тут, в деревне.

Его поместили в полуразрушенный амбар, уплотнив семью погорельцев. Возле амбара стоят заржавелые весы. Сидя на них, подставляя лицо солнцу, проводит свой день в плену немец под присмотром часового. Тот охраняет его по совместительству, основной объект часового — изба разведгруппы.

Иногда немец пытается вступить с ним в переговоры, лопочет что-то, машет вдаль рукой. Безнадежно.

— Отвоевался, сучий сын. Загораешь, — говорит часовой.

На том разговор иссякает.

Если на крыльце появляется кто-либо из командиров, немец вскакивает, щелкает каблуками. На этот счет он аккуратен.

Другого «языка» нет сейчас во всей армии, и немец нарасхват. Его забирают на допрос в отдел связи, к командующему артиллерией и даже к химикам, хотя толк от него невелик — немец явно не сенсационный.

Он торопливо шагает впереди красноармейца, оборванный, кудлатый, чужой; на весах у амбара пусто и чего-то вроде бы не хватает.

В этой двухслойной деревне — войско и жители — появился в его лице третий слой, ни с чем не смешивающийся.

Здешние жители немцев повидали, но в другом качестве. Побежденного — впервые. Если немец на месте, а часовой сговорчив и поблизости нет начальства, можно подойти к амбару. Немец пообвык и разглядывание переносит беспечно. Эти бабы в платках, эти бороды уже знакомы ему.

Умен ли немец, глуп ли, зачем явился, много ли ему Гитлер посулил — ни черта не выведаешь.

Но попросить — и фриц покладисто отворачивает широкое голенище, показывает ногу в шерстяном носке. И это среди лета, чтоб не сбить, значит, ног, по-ихнему! Ну и ну!

Немец без портянок — в шерстяных носках, он сперва свою пайку хлеба сжует, а потом, смотреть тошно, суп хлебает.

Но он не угрюм. И стоило ему одну ночь переночевать в деревне, его простодушие примиряет с ним. Сидит, как кудлатый щенок на цепи. И связной майора Лепехин собирает кой-чего ему.

— Надо Карлу покормить.

Вот только Анна Прохоровна, проходя мимо амбара, приостановится, вздохнет:

— Жизнь бог дает, а такой вот отымает.

6

На правом фланге армии, возле деревни Подборовье и у Велюбино, строят ложные переправы на Волге. Тюкают топоры, визжат пилы. Артиллеристы перетаскивают орудия. Постреливают. Нужно, чтобы немцы поверили: наступать готовятся на правом фланге.

Под вечер с левого фланга на правый движутся танки, а под покровом ночи возвращаются назад.

Сегодня начальник штаба вызвал капитана Голышко, приказал ему отправиться на бронепоезд. Задача бронепоезда — внезапно ворваться в Ржев, создать видимость прорыва на правом фланге.

Через час Голышке выходить, он спит пока.

Я сижу на крыльце у Анны Прохоровны, сочиняю обращение: «Немецкие солдаты в Ржеве! Пока не поздно, опомнитесь. . .»

Пахнет сеном. Анна Прохоровна разостлала его у порога, сушит.

В небе ровный, увесистый гул — торчит «фокке-вульф», предвестник бомбежки.

Анна Прохоровна запрокидывает голову, долго изучает небо.

— Дождь, наверно, спуститься хотит, — заключает она и принимается охапками перетаскивать сено во двор. Наблюдать за ней сущее удовольствие: каждое ее движение целесообразно и сама она подобрана, нетороплива, точно хранит внутри себя что-то важное, важнее этой работы, а уж войны и подавно.

Петра Тихоновича нет с самого утра — отправился на переосвидетельствование. Теперь ведь

приказ — регистрироваться всем мужчинам до шестидесяти лет.

В такой долгой разлуке им теперь редко случается бывать, и Анну Прохоровну тянет припомнить о нем что-то важное. Петр Тихонович, оказывается, когда лет пять назад она взяла к себе больную мать, ни разу не попрекнул ее.

— А старые люди — они ведь как надоедают, — объясняет она, разогнувшись.

Я иду через улицу под мерзким, нависающим гулом «фокке-вульфа» к дому с синими наличниками, где поместилась разведгруппа.

Голышко проснулся. Он в майке, сидит, держа на коленях гимнастерку, и пришивает чистый подворотничок. Лепехин тяжело сопит над вещевым мешком — отыскивает в своем запаснике что-то заветное. Подает капитану кусочек мыла. Голышко проверяет карты в планшете. На минуту садимся. Потом Голышко порывисто обнимается с майором Курашовым.

— Доброго здоровьица вам, товарищ капитан! — озабоченно говорит Лепехин.

— Ну, не пасуйте тут без меня! — нахально говорит Голышко.

И все довольны, вроде нахальство — надежный залог его возвращения. Такой парень все выдюжит. В случае чего его бронепоезд если не по рельсам, так целиной назад отойдет.

Накинув на одно плечо плащ-палатку, он идет по улице размашисто, твердо, не оборачиваясь на нас с Лепехиным. Нам видны его сдвинутая косо фуражка и темноволосый затылок под околышем.

Вокруг нас хмуро и тихо — «фокке-вульф» улетел.

Голышко уже вышел за деревню, идет под зачастившим дождем и наверняка насвистывает. Он привык искушать свою судьбу.

Дождь сечет мелкий и частый. На всю бы ночь так.

Анна Прохоровна стоит на крыльце, ждет Петра Тихоновича.

— Все листики обмывает. Прямо как по заказу, — сообщает она мне.

Петр Тихонович явился поздно, вымокший до нитки и веселый. Где с кем набрался — дело темное.

Мы уже улеглись, кто где. Я на лавках в красном углу, под закопченной божницей. С появлением Петра Тихоновича все пришло в движение. Хозяин веселый — постояльцам отрада.

— Поскачь, Тихоныч!

Он хлопает ладонью о колено, вроде бы собираясь плясать, но раздумывает.

— Вы мне тут всю танцплощадку завалили. Хвоста протянуть негде.

На топчане в углу смелее захныкал ребенок, и мать шикнула на него. Две бабы-погорелки, давно переругивавшиеся шепотом из-за мешков с зерном, что сгрудились так, что не поймешь, где чей, теперь без стеснения, громко продолжали свой спор.

Пьян, пьян, а их-то Петр Тихонович ядовито так поправил:

— Что, покусаются мешки? Межа нарушилась!

Тотчас заколыхалась на печи занавеска, высунулась с лежанки Анна Прохоровна и нараспев:

— Глядите-ка! Забота его не съела.

Бабы подсмеиваются: после войны Петра Тихоновича, мол, должны произвести над ними в начальники — однорукий ведь, для работы не годится. А та, что кормила грудью ребенка, громко зевая, подзадоривала: если б он воевал, быть бы ему теперь уже майором или генералом какимнибудь.

— Он бы воевал, — сказала с печи Анна Прохоровна, — только вот свое воевало потерял.

Петр Тихонович задул коптилку и полез на печь.

Спят люди. Темно и тихо, воздух в избе тяжелый — сырость амбарная и духота скученности и немытого тряпья.

Кто-то проснется, охнет, помянет бога, а прислушавшись к дождю, опять заснет, успокоенный.

Дождь хлещет. Раньше сказали бы: не ко времени — хлеб в поле не убран. Теперь же у него служба другая. Льет он, — значит, людям выдалась спокойная ночь, не наведет «фокке-вульф» бомбардировщиков. Может быть, и бронепоезд в такой дождь сумеет отойти назад.

7

За обуглившимися деревьями, за землей, вспаханной снарядами, — Ржев. Вот он — рукой подать.

Только это когда-то такое было — город Ржев, летний сад над Волгой, духовой оркестр, цветные фонарики, памятник революционеру Грацинскому. Были театр, восемь техникумов, институт. Пахло печеным хлебом, антоновкой, человечьим жильем.

Да было ли такое? Десять месяцев город у

немцев. Бессменная виселица возле Грацинского. Немцы вламываются в дома, рвут изо рта последний кусок. Голод. Люди едят толченые листья акации, варят суп из старых кожаных ремней. Где была столовая — гестапо, где склады железной дороги — лагерь военнопленных.

Страшно.

А спасение — рядом, вот оно, пробилось к окраинам. Идет бой. Сбрасывают на город бомбы, бьют снарядами: метят в немцев, отскакивает и в своих. Все перемешалось. Ни жить, ни умереть — сгинуть.

До войны жившие здесь в деревнях люди ходили ежедневно на работу в город. Километра четыре всего.

Этот же путь наши войска шли месяцы в крестных муках.

Когда-то был Ржев. Теперь — укрепленный врагом пункт, «неприступная линия фюрера», плацдарм, с которого немцы еще раз намереваются двинуть на Москву.

От нашего переднего края до Ржева остались метры. Немец не сдаст, и мы не отступимся. Будет ли конец бою?

— Пойдите с «Гвоздикой» по деревне, — сказал мне майор Курашов, — чтоб меньше внимания привлекать. У ручья подождите меня.

Гвоздика — так звать теперь Анциферову. Она стоит наготове с котомкой в руках. Мы вышли с ней на крыльцо. Смеркалось, тишина, розоватое поле заката.

Кто-то отделился от амбара. Немец Карл.

— Гуте нахт, фрейлейн! — тихо, по-домашнему сказал он, когда мы проходили мимо.

Кончилась деревня. Мы шли по кочковатому, невспаханному полю, поросшему травою. Выбрались на тропинку. Рукав моей гимнастерки терся о рукав Анциферовой, а туго набитый карман ее жакета задевал меня по боку. Мы шли степенно, безмолвно, упорно, как на богомолье.

Где-то сбоку от нас на дороге продвигалась, должно быть, артиллерийская часть — лязгали тягачи. Справа над лесом в сизом неподвижном небе тревожно разорвалась немецкая ракета. Слева на светлом, подсвеченном розовыми бликами небосклоне зажглась звезда. В той стороне — тоже немцы. Над полем тек туман, похожий на дымок от артиллерийского залпа.

Уже было топко под ногами и заметно свежо, остервенело квакали лягушки — мы спустились к ручью.

Заговорить сама я не решалась, и мне было тягостно, что Анциферова ни о чем не спросит, почему мы остановились, чего ждем. Как она не похожа на тех, кто уходил до нее. То были наши, кровно связанные с нами люди. Ей много хуже. Она ничья. Я украдкой смотрела на ее белое лицо. Она, казалось, отрешена от прошлого и будущего, от своих детей и от немцев — какая-то бесплотная. Но когда на рассвете она пойдет с котомкой за плечами на немецкие пулеметы, выхватив из кармана жакета белый платок, — ей будет страшно, потому что тело ее из таких же несчастных молекул, как и мое.

«Кто такая? Почему перешла?» Она все выучила, как полагается разведчику, отрепетирова-

ла с майором Курашовым все вопросы и свои ответы. Игра, честное слово, захватывающая, оголтелая. И словно бы уговорились с партнерами соблюдать условия игры. И по этому, значит, уговору спасшуюся от преследования русских Гвоздику доставят к ее мужу. А дальше ей велено склонить своего мужа Антона Сергеевича Анциферова, ответственного работника Ржевской управы, к сотрудничеству с нами.

Подошел майор Курашов, потрогал сапогом переброшенные через ручей слеги.

— Пошли!

Анциферова встрепенулась, подала ему руку, чтоб он помог ей перейти через ручей, так женственно, так покорно, что я вдруг почувствовала: она погибнет.

За лесом у немцев вспыхивали, как зарницы, ракеты. Вода в ручье улавливала их свет. Странно. Эта же вода, попетляв тут у края поля, через сколько-то минут добредет к немцам.

Возле амбара на весах уже никого не было. Сменился часовой у дома разведгруппы. В кухне мелькал свет — это дергался огонек коптилки. Лепехин проснулся и поставил на стол котелок с холодной кашей и кусок хлеба:

— Ужинайте, товарищ техник-интендант! — Вытянул из-за голенища ложку, обтер ее тряпкой и протянул мне.

Пока я ела, он маялся, борясь с дремотой, поправлял фитиль коптилки, чесал спину, примащивал на кулаках большое пористое лицо и вдруг заговорил сипло:

— Сумела прийти — сумей и назад воротиться!

8

Явился Голышко с бронепоезда. Забинтованный лоб, лицо серое. В армейский госпиталь ехать не соглашается, говорит: слегка царапнуло. Вообще от наших расспросов отмахивается, шутит, а глаза совсем переменились — тусклые, отчужденные. Видно, не пришел еще в себя.

О бронепоезде в штабе известно: он дерзко ворвался на станцию Ржев I, навел панику. Никто почти не уцелел на нем.

Голышко день маялся, а вечером закатился куда-то гулять. Майор немного смущен его своеволием, но старается как бы не замечать этого.

Под утро из поиска разведчики опять вернулись без «языка». Командарм негодует.

Днем такая тишина по всему фронту, что все ждут: что-то начнется. Отряд дивизионных разведчиков получил задание — при свете дня взять во что бы то ни стало «языка».

— Воздух! — огорченно сказал нам в открытое окно часовой по прозвищу Гоголь.

Уже был слышен прерывистый гул подходившего «мессера».

Мне надо было идти. Майор направил меня на НП дивизии, чтобы на месте допросить «языка», как только явятся из поиска разведчики.

— Опять воздух! — огорченно сказал появившийся в окне часовой.

Я вышла на крыльцо. Было видно, как снизившийся над большаком «мессер» безнаказанно строчил из пулемета.

— Вот гад — у фрица отдельный кабинет, — сказал Гоголь. Это он о Карле.

На днях, когда по приказу начальника штаба

рыли щель для часового, кинули лопату Карлу — рой себе, не жалко. И теперь он торчал оттуда, из своей персональной щели, высунув кудлатую голову.

Пока я дошла до березовой рощи, где был НП, заухали разрывы на правом фланге. Немцы начали садить из тяжелых орудий.

Почти до самого вечера я дожидалась разведчиков. Удачи им не было и на этот раз. В немецкую траншею они ворвались, но были встречены в упор огнем и отошли, захватив документы убитого фельдфебеля.

Среди документов — приказ по войскам: «Солдаты заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. *Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения*».

Когда я возвратилась в нашу деревню, стояли уже сумерки, кошки рыскали на пепелищах у обугленных печей. Немец Карл ел из котелка свой ужин, сидя на весах у амбара.

Я переступила порог избы и сразу почувствовала: что-то произошло.

— Вы где ходите? — резко спросил майор Курашов.

Его непривычный нервный тон, вещмешки и шинели, сваленные посреди избы, свернутые в плащ-палатку постели, груда бумаг на шестке подтверждали первое ощущение.

— Вы же сами меня послали.

Я доложила о разведчиках.

Майор слушал и крутил ручку телефона, но в трубке никто не отзывался. Я спросила:

— Мне что, собраться?

— Пока никуда не ходите. Не надо общаться с гражданскими.

Я села на край лавки, чувствуя себя почти что под арестом.

Донесся стук копыт по деревенской улице, мы напряженно прислушались. Кто-то подъехал к крыльцу, спешился. Вошел Голышко.

— Пожевать бы что-нибудь, — громко с порога объявил он.

Никто не отозвался.

— Танки немецкие в Корюшках, — сказал Курашов.

Голышко оглядел избу, оценил обстановку.

— Лихо воюем! — Он где-то хватил, и его подмывало.

— Проверь, сколько у тебя патронов, — сухо сказал майор.

— Ой-ёй-ёй! Умирает зайчик мой. По патрону на каждого. Хватит?

Он лег на топчан, расстегнул ворот гимнастерки и ремень.

— Горю! Как швед под Полтавой!

Выходило с его слов, что именно в Корюшках, где уже немцы, у него назначено сегодня ночное свидание. Но никогда нельзя было понять, где у Голышки правда, а где «охотничьи рассказы», тем более что сейчас было решительно не до них. Молча ждали приказа уходить.

Наконец зазвонил телефон. Голышко сел на топчане. Майор Курашов поспешно снял трубку. Разговор был минутный.

— Ну все! — сказал майор. — Все, что ли? — И спохватился с досадой: — Немец же еще вот...

Он пошел отдавать последние распоряжения. Голышко отсоединил телефон и теперь жег на шестке бумаги.

— Бегом за вещами, — сказал он. — И потактичней там. Не сей панику среди гражданских.

Я выбежала из избы. Горела соседняя деревня километрах в двух отсюда, пылали дома. Лепехин и немец Карл шли куда-то по улице.

Я надеялась, у нас в избе давно все спят, я возьму вещмешок и одеяло, прокрадусь на печку к Анне Прохоровне и попрощаюсь с ней.

Но хозяева и постояльцы толпились на крыльце, глядели на полыхавший пожар, прислушивались к тому, что делалось у нас тут, в деревне: вот выводили с усадьбы полуторку.

Я прошла в дом, как сквозь строй, все молча чего-то ждали от меня. Анна Прохоровна потянулась следом за мной, зажгла коптилку.

— Намаешься ты теперь, — сурово сказала она.

Я торопилась, затягивала вещмешок. Она завернула лепешки в тряпицу и отдала их мне. При свете коптилки заострившееся, бесстрастное лицо ее было как у святых на старых иконах. Мы обнялись, Анна Прохоровна вздохнула со всхлипом и сильно дунула на коптилку.

Работал мотор полуторки. Я стояла у дрожащего кузова в ожидании распоряжения майора. Уже были погружены несгораемый ящик и мешки. Мы чего-то ждали. И тут я услышала то, что витало в воздухе, но еще не было произнесено. Это

прошло по цепочке от майора Курашова к Голышке и замкнулось на мне:

— Не исключено, что мы окружены.

Пост у избы был снят. Гоголь сидел верхом на нашей единственной лошади: ему было приказано спасти ее от немцев.

Дрожал кузов готовой ринуться полуторки. Голышко курил, пряча в кулак цигарку. Под околышем его фуражки белела полоса бинта. Вокруг тишина — ни выстрела. И от этого совсем жутко. Казалось, подкрадываются в этой тишине немцы, окружают деревню.

Пожар разгорался в небе, и отсвет его блуждал по лицам моих хозяев и их постояльцев.

Это были последние минуты. Мы перевалим в кузов, ринемся пробиваться из окружения. А эти бесколесые, безоружные люди, само собой, останутся тут. Тут были погорелки: женщина с ребенком и бабы, не поделившие мешки с зерном, однорукий Петр Тихонович и Анна Прохоровна с привычно сложенными на животе руками. Они смотрели на наши сборы без осуждения. На их сосредоточенных лицах была война.

Ударил винтовочный выстрел. Он раздался где-то совсем рядом, на краю деревни. Звякнули затворы, мы застыли, вперившись в тишину.

— Полезайте! — спокойно сказал майор Курашов и рванул на себя дверцу кабинки.

Лепехин возвращался один. Зарево светило ему в спину, и лицо его было черным. Он шел с той стороны, откуда раздался выстрел, трехлинейка висела у него на плече.

9

Было тряско в кузове и жутко от грохота нашей полуторки, от блуждания впотьмах. Это длилось долго, и мы все еще не могли решить, где свои, где противник. Потом темнота растеклась, отодвинулась в чащу. Все стало белесым — мелькавшие деревья, небо над нами и сидевший напротив меня Лепехин. В лицо его я не смотрела. Он держал в коленях винтовку, короткие, расплющенные пальцы его стискивали ствол.

Все вокруг было призрачное, ненастоящее, точно мы уже умерли. Только тревога перехватывала горло, как у живых.

Потом грузовик стал. Крутили ручку, раскачивали машину, толкали в задний борт. Но мотор не завелся.

Майор Курашов поколдовал над картой и повел нас; на груди у него висел трофейный автомат.

Стараясь не шуметь и больше всех шумя, шагал Лепехин с винтовкой в руке и телефонным аппаратом под мышкой.

Немецкий маузер в деревянной полированной кобуре, о котором раньше я могла только мечтать, теперь был отдан мне и лупил меня по боку. Я старалась не отставать от Голышки. Он шел с наганом в руке и тащил несгораемый ящик. Никто не знал, как надо поступить с ним в таком положении, как наше. Сжечь его содержимое? Но если мы выберемся — нам не поздоровится. Какова мера опасности, чтобы так поступать, и кто измерит ее, если мы уцелеем?

Мы шли заболоченным лесом, по голенища утопая в мокрой траве.

Вошли в деревню Белевку с того края, где вчера еще работала немецкая прессовальная машина. В колхозном сарае и прямо на земле громоздились плиты соломы, приготовленной к отправке в Германию.

Где-то там за нами, где мы уже прошли, замкнулось кольцо окружения. А пока они нас окружали, левый сосед наш, воспользовавшись заварушкой, потеснил немцев из Белевки и еще из нескольких деревень. Превратности позиционной войны.

Мы шли вдоль уцелевшего ряда изб. Не гавкнет собака. Не вскинется петух. Все вымерло.

Нам открыла женщина. Секунду постояла в полутемных сенях и поспешно вошла в дом.

— Теща! — осипше сказал Голышко, волоча за ней несгораемый ящик; половицы под его сапогами оседали и чавкали. — Что-то немецким духом воняет у тебя тут.

В избе на полу стояла коптилка, возле нее в углу что-то копошилось. А дрожащая тень от крохотного пламени коптилки вымахивала во всю черную бревенчатую стену.

На лавке у стены зашевелился хозяйкин сынишка, спросонья настойчиво спросил:

— Это хто там, рус или фриц?

Голышко сорвал с окна тряпье. Серенький свет упал к нам сюда. Молча стягивали мы со спин вещмешки.

— Кончай молиться! — сказал Голышко хозяйке. — Воды нам требуется. Посвежее.

Хозяйка, сидевшая на корточках возле коптилки, обернулась к нам:

— Мне не отойти. Свинья опоросилась.

— С прибылью! — громко сказал майор Курашов, еще не остывший от азарта, от удачливости — ведь это он вывел нас из окружения, — шумно зачерпнул ковшиком в ведре, напился и подошел взглянуть на поросят.

Мы тоже напились, скрутили цигарки.

Я сидела на лавке, скулы у меня свело от напряжения и усталости. Я смотрела, как женщина гладит распластанную на боку свинью, подкладывает ей сосунков, успокаивает и гладит, гладит...

Лепехин тоже присел на корточки возле опоросившейся свиньи, покачивал сосредоточенно головой, сопел, чмокал, подсоблял хозяйке. Коптилка снизу светила в его рыхловатое, добродушное лицо...

Голышко растянулся на лавке, поправил повязку на лбу, наган сунул под щеку:

— Война-матушка... Перекур, что ли?

ДОЖДЬ

К нам в армию прибыл американец, видный деятель в своей стране, рука президента. Предполагалось, что он явился пощупать лично наш военный потенциал. Это в размышлении об открытии второго фронта.

Готовясь к приему американца, продовольственные интенданты отдали свой золотой фонд в распоряжение Военного совета. Из саперного батальона был извлечен кандидат наук, знаток английского языка и литературы, пообчищен, пододет, и выдерживался в безделии до прибытия знатного гостя.

Но у американца с собой оказались переводчик и повар, и, не откушав нашей хлеб-соли, он укатил в части на собственном «виллисе». Было крайне тревожно, что он ездил, не отведав русского гостеприимства, и, вернувшись домой, мог начать мутить воду.

В тот же день позвонили: гость пожелал побывать в «рабочей колонне» военнопленных. Мои начальники схватились за головы — просчет, не обеспечили немецким переводчиком для двойного перевода.

Через десять минут я сидела верхом на лошади, впервые в жизни. Нет, это не был лихой кавалерийский конь. Но для меня и понурая коняга представляла свирепую угрозу. Под ехидные напутствия я выступила на ней за околицу.

За именитым иностранцем я мчалась шагом на неподкованной лошади шестнадцать километров в глубину армии. Меня предупредили: засекает правой. Что это такое, я постигла на практике. Только я кое-как прилаживалась к ее ритму, как она спотыкалась, цепляла ногой за ногу, и меня выталкивало из седла, и голову мою отмотало вконец. Но самое страшное наступало в тот момент, когда какая-нибудь повозка или верховой обгоняли нас. Моя лошадь шарахалась. Вернее так: ноги ее прирастали к земле, и шарахалось только туловище — его заносило в сторону, словно от урагана. Потрепетав, лошадь порывисто, скачками пускалась вдогонку за обогнавшим. Такой прыти, к счастью, хватало у нее ненадолго.

Полем, наперерез дороги двигалась маршевая рота — молоденькие новобранцы с полной выкладкой, в серых от пыли ботинках и обмотках. Зеленые ветки, затолкнутые концами за скатку, колыхались над их головами. Маскировка. Уповая на эту веточку, они смело брели под распаханным войной небом.

Я спешила, как только могла, сражаясь за то, чтобы уцелеть на тощем хребте лошади, сильно преувеличивая свою роль в судьбе второго фронта.

Но этот проклятый американец, с личным поваром и переводчиком, уже побывал в том месте, где размещалась «рабочая колонна» пленных, и

укатил дальше на «виллисе». Об этом я узнала, подъезжая. Нервы мои были сильно расшатаны, когда я слезала с лошади и на неслушающихся ногах плелась за повстречавшимся мне капитаном из политотдела.

— Гутен таг! Этот господин, что разговаривал с вами...

Колонна пленных, к которой я обратилась дурным голосом, состояла из двенадцати немцев разных возрастов. «Рабочая колонна» — наша армейская достопримечательность, существовавшая уже четыре дня.

— Мы поболтали кое о чем, — сказал огромный неряшливый фельдфебель с бабьим лицом, старший из них.

— О чем же?

— Да так. Существенного ничего для вас. А что? — Он был грубиян, этот фельдфебель. Остальные стояли, бутафорски опершись о лопаты, и как-то странно глядели.

Единственный контакт, который мог с ними возникнуть, — сговор. Было противно.

— Товарищ техник-интендант второго ранга! — сказал, закипая, капитан. — О чем вы разговариваете с немцами?

— Я еще не совсем поняла их, — сказала я, задетая. Мне доверяли самостоятельно проводить допросы куда поважнее. Капитан, правда, не знал ничего об этом.

— Какой вопрос был задан вам иностранцем, только что разговаривавшим с вами? — беря в свои руки инициативу, сказал он. — Переводите!

— Господин американец спросил, каково содержание нашей работы.

— Так! — сказал капитан, воодушевляясь и нервничая. «Колонна» находилась в ведении политотдела армейского тыла. Возможно, капитан был ответствен за ее политико-моральное состояние. — Что они ответили ему? Дословно.

Но немцы попались дошлые. Они умели подсчитать, скольких человек охраны отвлекают на себя, во что обходится их содержание и каков коэффициент полезного действия их работы. И легко доискались, что они показные.

— Они говорят, «едва ли в нашей работе есть рациональное содержание».

— Они сказали ему «едва ли»?

— Нет, они не сказали буквально «едва ли», но как бы сказали. Это в их интонации.

— Но зачем же интонацию? Переводите слова!

Капитан рассерженно сбил на затылок фуражку. Он был убежден, что идея стоит любых затрат. Пусть бойцы и население видят: вот она, непобедимая Германия, работает для русского фронта.

Черный немец непонятного возраста, с худой, заросшей, черной кадыкастой шеей, в брезентовой куртке, заляпанной зеленой и желтой краской для маскировки, делал мне знаки, поднося два пальца ко рту. Но курева у меня не было.

— Медхен! — крикнул он. — Сделай милость!

— А ну заткни глотку! — бешено рявкнул фельдфебель.

Уже стемнело, и немцы ушли понурым строем в свою землянку. Я ночевала в палатке на топчане, застеленном еловыми ветками. Во сне я куда-то мчалась, спотыкалась, срывалась в овраг.

Проснулась я, как от толчка в грудь. Рокочущий гул разнесся над землей. Началось!

Даже сюда в тыл, на периферию, в глухомань, доносился сокрушительный шквал артиллерии. Самая мощная, какую мы слышали, канонада. Наша надежда, господи. Давай! Давай! Чтоб там, на юге, стало немного легче. Чтоб отогнать их от Москвы. Чтоб Ржев наконец был освобожден. И чтоб ты знал, американец, как оно достается.

Звонил телефон, меня срочно разыскивали — уже взяты пленные и документы.

Капитан угостил меня на прощание кашей. Он был учтивее, чем вчера, — когда наступление, переводчики поднимаются в цене, я это уже усвоила.

Лошадь, как мне велели, я оставила, поручив свести ее подковать, и отправилась «голосовать» на дорогу.

«Рабочую колонну» уже вывели. Под ленивым присмотром двух пожилых дядек-солдат, на виду у тех, кто проследует по этой армейской дороге, они ковырялись на обочине, вроде бы откапывали кювет, прислушиваясь к тому, как гремит на фронте.

— «Катюша»! О-о! Поразительно!

— Плохо там сейчас. Капут! — негромко говорили мне немцы, пока я шла вдоль колонны. А черный немец в разрисованной брезентовой куртке воткнул в землю лопату, уперся подбородком в черенок, дожидаясь, когда я подойду ближе.

— Медхен, скажи, как скоро нас будут расстреливать?

Я растерялась.

— Кому вы нужны!

А фельдфебель заорал, подступая к нему:

— Заткнись, свиное отродье! — Бабьи щеки его несчастно и возмущенно тряслись.

Наш дядька-солдат подергал его за рукав:

— Ну-ну, фриц, потише! Из себя не больно-то выходи. Налетает то и дело, как петух, на него, на черненького, — объяснил он мне.

Я пошла дальше и слышала, как фельдфебель все еще продолжал орать:

— Шваль! Паникер! Тряпье! — И еще какие-то ругательства. Он не знал, как унять катастрофу.

Перед поворотом дороги я оглянулась, увидела в последний раз немцев, пригнувшихся к лопатам, размахивающего руками фельдфебеля.

Все еще гремело над землей, грозно, мощно и победно. Впереди дорога была выстелена осиновыми хлыстами, и каждые сто метров попадались дощечки — участок командира такого-то.

Внутри у меня была такая карусель, такая блажь, что, усаживаясь на комель на участке сержанта Устинова, я подумала: и в мирной Москве вот так бы: участок дворника такого-то. У кого чище?

Но еще до того, как меня подобрала полуторка, стало накрапывать. Дождь барабанил по крыше кабинки, заливая ветровое стекло. Дорога осклизла. Она шла под гору, и водитель вцепился в баранку.

— Лысая резина у меня. Хоть бы трофеев каких раздобыть. Смениться нечем.

Лило. Это был не дождь — потоп.

— Природа! — с презрением сказал водитель. — Заодно с ним.

Мы скатывались вниз. В низине сбились машины. Люди с почерневшими от дождя спинами таскали ветки, мостили грязь.

Мой водитель рванул в объезд по кочкам. Что-то ударило снизу, и машина села на дифер.

Мы вышли из кабинки. Дождь поливал нас. Санитарная машина с ранеными не могла разъехаться с бензовозом, и стон моторов висел над дорогой.

Не таясь противника, в пешем строю месило густую грязь, тащилось войско на подмогу наступающим.

Сюда на дорогу приполз слух о бедствии. У Городского леса танки засасывало в трясине, и эти несчастные «черчилли», «виктории» с никудышной броней враг решетил, как мишени.

Откуда-то взялся Пыриков в развевающейся плащ-палатке, с автоматом на груди. Разведчик Пыриков, пролаза. Как только он набрел на нас? Он расторопно повел меня в сторону от дороги, полем, куда-то туда, где находилась перебравшаяся ночью разведгруппа. Он шел по хляби, как бог, не спотыкаясь. Я в набрякших, заляпанных глиной, огромных хромовых сапогах едва поспевала за ним, и казалось, этому теперь не будет конца, под ногами нескончаемое месиво, а впереди — тоненькая шея и оттопыренные хмурые уши Пырикова.

Он вдруг остановился, обернувшись, с усмешкой сообщил: американец, говорят, потаскавшись по частям, спросил вдруг бутерброд с икрой. Маленький кусочек хлеба, намазанный черным.

Столы банкетные наготове зазря держали, а тут не смогли угостить. Нет икры.

Дождь припустил. Он шлепался об пилотку и плечи, мчался струями по лицу и с подола шинели за голенища сапог.

Все скрылось за дождем. Наши приготовления

к приезду американца, суета, мое взвинченное представление о том, что и я чему-то содействую, когда вчера догоняла его на лошади. Смыло и самого американца, желающего что-то вычислить. Но что же? Этот дождь? Хлябь и твердь? Гром артподготовки и внезапную тишину перед атакой? Новобранцев, прикрытых зеленой веточкой? Стон машин с ранеными, застрявших на размытой дороге, и это: «Медхен, как скоро нас будут расстреливать?»

Мы все шли и шли. Нам надо было прийти в деревню Вотюково.

Поле кончилось. Навстречу нам из рощи вышли двое раненых. Один из них, с бурым намокшим бинтом на голове, без пилотки, в расквашенной дождем, неподпоясанной шинели, волок прикладами по земле две винтовки, свою и товарища, зажав дула под мышками. Он обшарил нас белесыми, невидящими глазами, не ища ниоткуда помощи. Постоял, пригнулся, взвалил на спину винтовки и, шатаясь, потащился по раскисшему полю впереди товарища.

Мы обогнули рощу, и за ней открылся вид на деревню Вотюково. Трубы. Одни трубы, остатки сгоревших жилищ, черные от огня. Где-то здесь под землей расположилась наша разведгруппа. Мы пришли.

ТЯГЛО

Старуху Егоровну отселяли с передовой. Везли ее на военных санях вместе с мешками, утварью и деревянной кроватью. Позади, привязанная к саням веревкой, шла корова.

В деревне Жмурки сани выгрузили. Старуху пустили заночевать в правление, с тем чтобы наутро решить, к кому определить ее. Но старуха была плоха, и взять ее к себе никто не согласился, даже ее золовка, жившая тут, в деревне. У золовки полна изба малолетних внуков, куда ж ей еще такую обузу на себя брать. Старуха оставалась пока жить в правлении и была как бы общественная.

Правление колхоза занимало пустовавший дом. О хозяевах — где, в каких краях мотаются — еще до войны ничего слышно не было. Отодрали доски, накрест запечатавшие окна и двери, — по военному времени считаться не приходилось. В кухне пока что поместилась эвакуированная из города семья, а в горнице — правление и старуха со своими мешками.

Стол, лавки — всего этого хватало в пустовавшем доме. В углу — икона. На стену прикрепили

какую-то важную бумагу, прибывшую, должно быть, из самой Москвы. Читать старухе было трудно, и она ленилась. Но по картинкам, какие были на бумаге, догадывалась, что речь шла об искусственном осеменении. Старухе это было небезразлично из-за ее коровы Василисы.

Когда фронт во второй раз подходил к деревне и немцы угоняли на запад весь скот, старуха скрывалась с Василисой в лесу, промерзла и с тех пор все болеет.

Под вечер сюда в правление обычно набивался народ. Хозяйственные дела, распри, наряды. Председатель был еще крепкий бородатый старик, в выношенной солдатской ушанке, молчаливый и трезвый. И женщины, оставшиеся без мужиков, признавали его власть.

Зато днем, в его отсутствие, они забегали полаяться со счетоводкой Мусей и жаловались Егоровне: то самих гонят на постройку моста, то малого или девчонку — последних помощников — забирают в ФЗО.

Старуха жалобщицам особо не потакала. У нее самой четверо сыновей на фронте, а внучку — только шестнадцать сровнялось — мобилизовали на какой-то спасательный пост на реке Тьма. С кого ж теперь спрашивать? С немца только.

Правление совещалось часто. Старуха лежала или сидела в стороне на своей деревянной кровати, прибывшей вместе с ней на санях из ее родной деревни, где теперь залегла оборона. Гомон и чад от самосада сбивали старуху с толку, она недослышивала, но то те, то другие клочья разговора

достигали ее сознания, и тревожный смысл их был ей близок и понятен. С колхоза требуют подводы в порядке гужповинности, а лошадей, какие остались, нечем кормить, и к тому же они болеют чесоткой. Райисполком отказал в семенах для посева...

Потом договаривались о найме пастуха. Это уж и вовсе касалось старухи.

Пастуху положили с коровы: шестнадцать килограммов ржи и шестнадцать картофеля, двадцать пять рублей деньгами и четыре яйца. Деньгами он брал по-божески, да на них теперь далеко не ускачешь, зато хлебом и всем остальным наверстывал. Но старухе при мысли, что Василиса вот-вот будет в стадо ходить, хотелось пожить еще немного на свете, поглядеть, что будет. Может, и дом, бог даст, невредим останется.

О счетоводке Мусе болтали, что она такая-сякая, что меньшая девчонка у нее нагульная — с пастухом набегала, и что ей только бумажки и писать, — безрукая, прореху какую и ту зашить не сумеет — накулемает.

Но старухе счетоводка нравилась. Женщина молодая, веселая, сережки стеклянные в ушах, волос блестящий, смоляной. Ей бы жить да гулять, а тут — война. Все счетоводное дело на ней и вся канцелярия в придачу. Одно дитя за подол держится, другое руки откручивает. А тут поди еще намотайся по избам да насбери шерсти на варежки для наших бойцов или деньги на танк вытяни. Легко ли? Не у каждого-то теперь совесть есть.

Но когда наутро после того заседания Муся, придя в правление, не задерживаясь у своего стола, направилась к старухиной кровати, неся под мышкой большую книгу, Егоровна почувствовала сильное беспокойство.

Подойдя поближе, Муся развернула свою книгу и, подставив под нее колено, полистала. Это была довоенная книга ведомостей породного молодняка, многие листы остались чистыми, и на них Мусей старательно велись протоколы.

Старуха этого не видела, да ее и не касалось.

— Вот, — сказала Муся. Полистав еще немного книгу, она провела ногтем по строчкам. — Старались ... От четырнадцатого февраля ... — И прочла вслух: — «Ввиду много было вакуированных и хлеб поели, то колхозники колхоза «Красный борец» просют райисполком, чтобы помогли семенным материалом».

— Ну, ну, — терпеливо сказала старуха, рассматривая Мусин подшитый валенок.

Муся опять полистала страницы, все еще держа ногу на весу и поддерживая коленом книгу.

— Вот, вчерась. «Слушали. О значении нашего колхоза «Красный борец» как прифронтовой полосы и то, что нам нужно изыскать семена внутри колхозников ввиду того, что нам район в семенном фонде отказал». — Захлопнула книгу и выжидательно помолчала.

— Я вашего не ела, — самолюбиво сказала старуха.

— Вы не ела, другие поели.

Старухе не нравилось, что Мусе словно язык придавило, не постарается сама объяснить дело, — лазит в книгу и зачитывает, как на суде.

Мусе издали, из-за своего стола представлялось, что старуха совсем дряхлая. А тут вблизи на нее цепко смотрели темные глаза. Видно было, что старуха еще поживет, — есть в ней жилистость. Помолчав, вздохнула, сгребла в кулачок пальцы и тут же опять развалила всю горстку просительно.

— Надо дать, бабуся... Сеять-то нечего.

И лаской доконала старуху. Никуда не спрячешься — вымотают с тебя зерно, отдашь в долг чужому колхозу, хотя назад с него едва ли воротишь.

А счетоводка уже прилаживалась писать на клочке обоев расписку.

Старухину внучку звали Шуркой. Она была еще совсем щупленькой, скуластой, с широкими ноздрями и вспухшими красными губами. Она называлась «водоспасатель» и жила в будке у перевоза через Тьму. Здесь же и спала на полу вместе со своей напарницей и старшим над ними — пареньком. По ночам мерзли, прижимались друг к другу, хихикали, днем бегали в село за хлебом и крупой, варили обед на железной печке, шутили с проходящими красноармейцами. В ожидании паводка караулили свою лодку, багор, шест для измерения воды и две сваи. Река все еще была закована льдом. От нечего делать не реже раза в день читали вслух напечатанный на машинке приказ начальника спасательной службы всего Калининского облосвода:

«На невиданном в истории фронте идет сражение... Призывным колоколом, зовущим к полному и окончательному разгрому врага, прозвучало на

всю страну историческое выступление... Весенний паводок является смотром готовности вооружения спасательной службы и личного состава...»

У Шурки мурашки обсыпали тело. Слова, с которыми обращался к ней неведомый начальник, оглушали Шурку и льстили ей.

Когда доходили до места: «Общее руководство беру на себя и по районным штабам — ПРИКАЗЫВАЮ», — ей представлялся герой на коне с саблей наголо, как в кино, что смотрела до войны.

Но что же надо ей делать, чтоб «паводок 1942 года не сорвал планомерности в работе предприятий и транспорта, — как было сказано в приказе, — чтобы он не вырвал из наших рядов лучших стахановцев, отдающих все свои силы на разгром немецких оккупантов», Шурка никак в толк взять не могла. После боев во всей округе не осталось ни одного предприятия. И ни транспорт, ни стахановцы сюда не показывались.

Вообще дел пока никаких не было. Но Шурка не согласилась бы даже самой себе назвать бездельем то, за что ей платили двести сорок рублей в месяц и давали рабочую карточку на хлеб и на другие продукты.

От Спасательного поста до деревни, куда вывезли старую Егоровну, — километров десять. Оставлять надолго пост, по усвоенным Шуркой понятиям, не годилось. Все же изредка она отправлялась в путь.

Она сидела в правлении чужого колхоза, круглыми пустыми глазами посматривала то на недомогавшую старуху, то на миловидную счетоводку, ловко щелкавшую на счетах.

Старуха кормила внучку молоком, допытывалась, не тяжело ли ей достается, строго наказывала помнить про то, где нашла себе смерть Шуркина мать, и остерегаться самой.

Шурка быстро облизывала вспухшие, обветренные губы, натягивала на щуплые коленки задиравшееся под телогрейкой ситцевое платье и косилась на бумагу, прикрепленную к стене. С краев бумагу общипали на курево, и слова смешно укоротились:

«...воить технику искусст...

...емения, преодолевать все трудности в проведении этого де...

...зникшие в связи с войной...»

После ухода внучки старухе не лежалось. Маялась у окна. Вон снегирь на снегу подпрыгивает. А снег, видать, съежился да напоследок скрепился слабой ледяной корочкой. Днем, при солнце, с веток: кап-кап. Пятаки в снегу выдалбливает.

А то старуха шла в сени, где эвакуированные смалывали зерно ручными жерновами. Отодвигала задвижку на двери, ведущей во двор. Ее обдавало запахом навоза. Во дворе, залитая из всех щелей мартовским светом, Василиса била себя по бокам хвостом. Старуха тихонько спускалась по ступенькам вниз, садилась передохнуть на чурбак, ворчала:

— Кончится твое лентяйство, скоро уж теперь.

Поднималась, охая и вздыхая, гладила по спине корову, прислонялась к ее теплому боку. Все разгромлено войной, все рвалось и рушилось. Одна только живая связь оставалась у старухи.

— Касатка моя, Василисонька!

В поле уже чернеют косы земли. Где вчера еще снег лежал, сегодня — пожухлые ошметки одни. Как сжевал его кто. Скоро, скоро уж вся земля покажется.

В правлении, где жила старуха, стало шумней, гремели двери, бойче стучали подошвы по половицам. Весна всех разворошила.

Опять заседало правление.

Старуха не прислушивалась. Она лежала на кровати, и перед ее мысленным взором сидела Шурка с круглыми пустыми глазами.

Старуха знала: это уж безвозвратно. Она сама своими руками собирала в дорогу сыновей. Одного за другим, как подоспевал им срок, кого в армию, кого на стройку, а потом не умела даже представить себе, где они жили, что делали. А когда кто-либо из них попадал ненадолго в деревню, глаза у него были такие же, как у Шурки. Точно перервали пуповину, и теперь он сам по себе. Так что старуха знала, как это бывает. Но с Шуркой очень уж быстро получалось. Старуха не могла согласиться с этим, но и помешать тоже ничему не могла.

— Ах ты господи, — кряхтела она, ворочаясь на постели. — Разор какой!

Тут в избе стоял гомон и чад, как обычно, когда заседало правление. И даже больше обычного — время шло к севу.

Как ни занята была старуха своим, ей в уши понемногу просачивались голоса и внятнее других — тихий голос председателя:

— На лошадей надежды нет. Дошли. За хвост подымать надо. Так что решение как раз подоспело.

И все о решении каком-то. А голоса то глохнут, то опять внятно сочатся. И угрюмо так:

— ...В упряжке походит, молока что с нее возьмешь.

— Да уж молока убавит. Тут что-нибудь одно...

— Огласить надо б, разобраться...

От тяжелой догадки у старухи холодок в горло подскочил и перекинулся в ноги.

Стихло в горнице. Слышно — шелестят бумаги. Председатель прокашлялся, снял нагар с фитиля — огня добавилось, — читает:

— ...«Немедленно... к обучению крупного рогатого скота, какой имеется... и в личном пользовании колхозников... как тягло в весеннем севе... Хомут разрезается в верхней части и здесь же засупонивается... Нормы выработки на коровах... в районной газете «Сталинский путь»...

И закончил твердо:

— «В случае... отвечает председатель по законам военного времени».

— На одну сознательность твою, значит, не располагают.

— Выходит, так.

— Тут, мать ее за ногу, надо ее железную иметь...

Больше старуха не слышала ничего — провалилась, как в темный колодец, в свои тяжелые думы.

Когда очнулась, речь шла уже о другом. О сборе подарков Красной Армии к празднику Первого мая. Решили испечь булки и высушить на сухари. Молоко пропустить сепаратором, на сливках замесить тесто. На том и разошлись.

День, другой потянулись в неизвестности. На третий наконец разговор начался. Что нового да как, бабуся, сами себя чувствуете? Это счетоводка

Муся через всю горницу. И председатель выжидательно обернулся в ее сторону — брови насуплены.

Старуха, до того сидевшая на кровати, поднялась, запахивая на груди кофту, и от волнения чуть ли не с поклоном: как видите, кряхчу помаленьку.

Муся проворно поближе сунулась:

— Мы к нам привыкли, бабуся. Как своя вы...

— Чужая собака на селе... — неохотно размыкая губы, отвечала старуха.

— Ну уж, бабуся. К чему вы... Наш колхоз вас как родную... Мы к вам всей душой...

Ласкова — все кишки повытереблит. Подъезжай, подъезжай. Что дале?

И председатель неторопливо пододвинулся.

— А что не так, во внимание надобно взять — время военное.

Еще что-то сказать имел, но застряло — прокашлялся.

А Муся за него:

— Пахать не на чем. Лошади совсем оголодали. Сами знаете...

Гляди, даже в свою книгу забыла лазить — наизусть лупит.

Председатель кончил прокашливаться.

— С тягловой силой плохо обстоит. Какой-то выход нужен. И решение есть.

Старуха — губы поджаты — не подпускает. Начеку.

— У вашего конюха руки вися отболтались — лошади и колеют. За коров принимаетесь...

Молчат — не понравилось. У председателя по

всему лицу — задумчивость, — приготовился к ответу перед властью по закону военного времени.

— Вам даже выгода, — рассудил он. — Вам трудодни пойдут. Как вы сами нетрудоспособная, так за вас коровка...

Медведь ты, медведь, не укусывала тебя своя вошь.

А солнышко уже лучи мечет. Старухе с крыльца видно: земля клубится — преет. Скоро пахать.

Потом подул холодный ветер — река, должно быть, вскрылась.

Так и есть — лед ломался, трещало на всю округу. Пошел!

Шурка не отлучалась с берега. Ее бил озноб от жути, от непонятного ей самой веселья. Это она, Шурка коноплястая, поставлена сюда на пост. Ей видно далеко вокруг: никто пока не тонет. Мимо идут и идут красноармейцы, тянут переправочные средства, поглядывают на Шурку.

Переправу наведут, тогда, говорят, жди немецких самолетов. Все в кашу смешают. А Шурке не страшно. Вот ведь и мать в реке погибла — в полынью провалилась. И когда еще было — давно, в мирные годы. А Шурке в свою смерть не верится.

В деревне каждую весну бегали на реку смотреть: если лед глыбами встает — к урожаю. И сейчас он горбатился — хороший знак Шурке... И правда, война ее подбросила так высоко, что из этой выси прежняя жизнь с бабушкой казалась ей глухой и серой.

Под крутым берегом, где раньше был перевоз, спешка — разбирают сваи... Старый перевозчик пропал куда-то без вести. Его баба в овчинном тулупе шурует вместо него и сосет трубку.

Шел лед. Солнце подхлестывало серо-голубые валы, и они куда-то все ехали и плюхались между берегов.

Когда река очистилась и Шурку сменили с поста, она отправилась в дальнюю деревню.

Василисы не было. Ее увели со двора, должно быть в конюшню.

Счетоводка щелкала костяшками, как в прежние разы. Слова на бумаге, прикрепленной к стене, еще больше укоротились... А бабушка лежала, не двигалась, худая и скучная.

Шурке точно хомут шею надавил, хочется вздохнуть поглубже и — никак. Она вертела головой, озиралась. Заскучала по своей будке и красноармейцам.

Старуха коснулась ее колена белой, неживой рукой, и Шурке стало страшно, не выдержала — всхлипнула. Наскоро про себя помолилась. Она была «мобилизованной» и не своей волей отделена от бабушкиной немочи.

Постояла в ногах постели, утерлась рукавом телогрейки и поклонилась.

С тех пор как увели Василису, старуха почти не вставала. Но была беспокойна, копошилась на постели, искала что-то под изголовьем, а то шарила по воздуху, тут ли мешки.

— Смерть чует — капризничает, — кому-то объясняла Муся.

Насчет смерти старуха сама чувствовала: притиснулась она к ее жизни — блошка не проскочит. И старалась, когда не донимало беспокойство, лежать смирно, *готовиться*. Но грехов своих она не помнила и, лежа так подолгу, прислушивалась: скрипят жернова в сенях, что-то опять там мелют.

О своих сынах она ничего не знала, живы ли они. Если подадут о себе весть, так и та не дойдет, — не станет почта разыскивать Егоровну по чужим деревням.

Она хорошо не могла припомнить, рожала ли их на самом деле. Знала, что у нее должно быть четверо сынов, если враг не побил их. Из всей прожитой жизни яснее всего вставал перед глазами синий лен, как в то раннее утро, когда совсем еще маленькой девчонкой увязалась за матерью в поле. До чего же синий был. Кажется, никогда потом таким не был... Мал-малышок в сыру землю зашел, синю шапку нашел... Кто ж такой? Отгадай...

С помощью Муси-счетоводки старуха приплелась на крыльцо — хотелось на божий свет еще раз взглянуть. Солнце стояло уже высоко. В той стороне, где деревня Егоровны, ухало беспрестанно. А небо почти что белое, тучки не спеша гоняются друг за дружкой. Глаза подымешь — слепит, и не хочешь — зажмуришься. На солнышко, что на смерть, во все глаза не взглянешь.

Председатель — зимняя солдатская шапка в руке — встал уважительно неподалеку от кровати Егоровны, спрашивал, слышно ли что о сынах.

— Особого ничего, — отвечала старуха. Знала:

это только так — председателева присказка. Что-то там впереди еще.

Он и не стал медлить, сообщил: договорился с ее золовкой, та согласна взять ее к себе, если Егоровна отпишет ей половину своего имущества.

Старуха с минуту помолчала. Она и сама понимала: не в подходящем месте поселили ее. Люди сюда по делам идут, и она тут в придачу лежит. Красиво ли это? Она стеснялась того, чтоб час последний застиг ее тут в правлении. Раз уж нельзя в своей избе, так хотелось бы в укромном углу где-нибудь. И условия золовкины ей показались справедливыми и отчасти были по душе ей: не повиснет она неоплатной обузой на чьих-то плечах. Она согласилась.

А про себя отметила: силы совсем убывают из тела, а голова варит, как у здоровой, и даже еще проворнее.

Составить завещание позвали эквакуированного из города старичка, проживающего в той же избе, на кухне. Он расположился за столом, рядом с Мусей, и старухе было видно: клюет носом бумагу. Сам в плащишке, ворот выхвачен — зацепился, должно быть, где-то — и болтается на плече.

Как звать старуху и золовку, и как по отцу, и потом также о Шурке справился.

Старуху кольнуло: обижает она сироту. Но тут же трезво сказала себе: Шурка ушла — не воротится, назад в деревню хода нет.

Председатель — забот у него по горло, но покорно сидит, наблюдает за старичком — только бы довести дело до хорошего конца.

Золовка черным платком повязана, как на празд-

ник, сидит чинно, руки на коленях сложила — не намного моложе старухи, но рассчитывает еще пожить на свете.

И правда, похоже, что праздник. Чудно. Счетоводка в свидетели приглашена и на счетах не гремит, кулачком щеку поддерживает.

Старухе даже неловко: из-за нее всем беспокойство, а она все еще не помирает. Хотелось, чтоб видели: она совсем плоха, — лежала, не ворочалась, ни во что не вмешивалась.

Раз только, когда стали перечислять, чем она владеет, и хотели записать: дом-пятистенок и корова-трехлетка, старуха воспротивилась наотрез. Нечего перечислять, чего нет. Дом под обстрелом стоит третий месяц, а на корову хомут надели, не корова она теперь — тягло. И, поглядев на седую голову председателя, со страстью призвала, чтоб хоть какая-нибудь расплата постигла его. Отольются тебе, медведю, Василисины слезы.

Старичок стал зачитывать написанное. Слова так и вьются в душу.

— «На случай своей смерти совершает духовное завещание. . .»

Старуха беспокойно отметила про себя: старичку придется стакан муки отсыпать. . .

— «. . . все свое движимое и недвижимое имущество, где бы таковое ни находилось, в чем бы оно ни заключалось, словом, все, что по день смерти будет ей принадлежать и на что по Закону она будет иметь право, половину всего завещает в полную собственность золовке своей. . .»

Не все слова старухе были понятны, но она строго слушала, проникаясь торжественным и грозным значением этого часа. И неловкость больше не тяго-

тила. Не зря сошлись из-за нее сюда люди, и председатель не зря проводил здесь время, хотя еще не отсеялись.

— «...на условии, чтобы кормить ее до дня смерти и с честью похоронить».

С тех пор как стояла под венцом в церкви, полвека назад, никто не колдовал над ней такими словами, и под церковный гул этих слов на душе у нее стало тихо, несуетно. Что-то синее-синее замелькало в глазах... Ах ты, мал-малышок в сыру землю зашел...

ДУСИН ДЕНЕК

— Что делается! — с ликованием сказала сидевшая на приступочках нашей избы Дуся. — Машины взад-назад, взад-назад. Не успеваешь глядеть.

Эта Дуся — горемыка, побирушка, кочующая за нашей армией. Опять она здесь. Только мы передислоцировались, и она тут как тут.

Танки вползали в деревню. Их мощь, свирепый рев моторов, лязганье гусениц приводили Дусю в восхищение. А то, что эту мощь завернули из боя, невдомек ей.

— О-ой! Сила-то! Семь, гляди, восьмой уже! О-ой!

Ох, Дуся, бросай считать. А то тебя сграбастают. Около войны надо ходить с осторожностью.

Она поднимает на меня голубые, чистые глаза блаженной — ее охранная грамота.

— Только не нервничай, — вдруг так чутко говорит она. — Смотри, как я живу. Мне одна говорит: я б на твоем месте давно утопилась. В честь чегой-то? Я еще там належусь. А у меня сынок есть, Сергей Иванович, один-единственный. Я его из жи-

вота родила. В Ржеве он, в детдоме. Я еще погляжу, каким он будет. Не в меня, бестолковую...

Доставшееся ей откуда-то синее платье железнодорожницы было в белесых полосах. В раскрытом вороте виднелась сиреневая мужская нательная рубашка, а по ней спускалась с шеи веревочка, держащая поблескивающий медный крестик.

Танки ползли по деревенской улице сюда, вздрогнув, останавливались, как вкопанные, обдумывая, куда бы встать.

— О-ой! — обмирала Дуся.

Я вернулась в избу. Радист Костя Носков сидел в наушниках, лицо у него было как у Будды — скуластое, затаенное, — и листал какую-то ветхую книжицу.

— Волга, — сказал он, подняв на меня узкие, темные, строгие глаза, — в полосе нашей армии имеет четыре правых притока...

У него страсть к положительным знаниям.

Я сменила его.

— Я — «Алмаз». Прием, — надев наушники, повторила я трижды, а Костя, закрыв книжку, успел написать на чистом листке: «Привет с фронта» — и закусил карандаш.

Я еще раз объявила прием и стала ждать.

— «Мария»! «Мария»! Я — «Алмаз». — Отзовется ли из Ржева тоненький голос «Марии» или гулкий мальчишеский «Ивана». Я их никогда не видела. Они оба — ржевские. Может быть, «Иван» похож на Костю Новикова — круглоголовый, крепенький и такой же солидный, хотя и помоложе. Костя прошлый год окончил десятилетку, а «Иван» — восьмой класс.

А «Мария»? Какая же она?

— «Мария», «Мария», — упорно прошу я. — Ответьте «Алмазу», «Мария»!

Дрожь, шорохи, трескотня, как всегда в сырой день.

Когда вошел майор, дежурил опять Костя. Я доложила, что «Мария» не ответила. Уже шестой день подряд.

— Вот так, — сказал майор и стал рисовать кораблики на Костином листке. — Кого-то опять в Ржев посылать надо.

Он вынул из кармана и протянул мне «зольдбух», доставленную с поля боя.

— Полюбуйтесь.

Я заглянула в конец солдатской книжки, где немцы выписывают номер части, и мне все стало понятно: против нас на участке фронта появилась новая дивизия — 17 СС.

— Выходит, кого-то посылать надо, — опять сказал майор. — «Иван-да-Марья» накрылись.

Однажды они вырыли могилу на Казанском кладбище, где стояла немецкая артиллерия, легли на дно и сигналили нам ракетами, вызывая огонь на себя...

— Послушайте, — сказал майор, подперев кулаком небритую щеку. — Вы ведь в институте учились...

— Недоучилась.

— Вам высшее образование подносили на тарелочке с голубой каемочкой. Неужели вы не можете сочинить что-нибудь дельное для разведчика!

Он был вдрызг измочален, психовал, чего с ним ни в каких передрягах не случалось. Я же немела, уважая его и робея. Что сочинить? Он всегда все

сам придумывал и сам наставлял разведчика, как вести ему себя, что говорить, если задержат.

— А ведь посылать-то некого, — сказал майор. Ни один разведчик не вернулся с задания. Но кому-то надо пробраться в Ржев, на кладбище, зажечь лампадку — знак для тех, кто должен заступить на смену выбывшим.

— Этим ребятам цены не было, — строго сказал майор. — И замены им нет. — Он пнул носком сапога дверь и вышел.

А на крыльце у нас хозяйка прогоняла Дусю. Ее широкая спина в домотканой оранжевой кофте гнулась над синим комочком в форме железнодорожницы.

Подняв к ней голову, Дуся отмахивалась, как от мухи:

— Не, я сперва кости в твоей баньке попарю.

— В избу и не вздумай соваться. Не пущу!

— Я и не хожу, вот чума! Видала? — призвала она меня. — Я б ей десять рублей заплатила, истинный господь, не пожалела бы последние, только б отстала.

— Куда ж ей идти? — вступилась я. — Ей в Ржев надо, к сыну.

— С нас спрашивают, чтоб чужих не пускать.

— Что богаче, то жадней, — сказала Дуся, и голубые глаза ее заблестели. — Она небось нищему куска хлеба не подала. А мне не надо. День прошел, и ладно. О-ой! Я еще таких людей не видела. А еще к социализьму дойти хотели с такими-то, господи боже мой! Э-эх! Я не вру.

Хозяйка прыснула и, прикрывая ладошкой рот, ушла в сенцы.

— А бабка-то бедовая, — сказала Дуся. — С такой не задремлешь.

Но тут еще раз выглянуло из двери посерьезневшее лицо хозяйки, и она посулила черство:

— Заградчиков позову. А там как знаете. Пусть глядят сами.

— Зови, зови, чума! — грубым голосом сказала Дуся и сунула руку в ворот нательной рубашки, достала что-то увернутое в тряпку, размотала.

— Глядите все! — привстав на коленях, потрясла она паспортом. — Вся моя личность тут. А не прописан — так я от брата с невесткой совсем откачнулась. Я и так у них пожила. Сколько ж еще. Сынок у меня озорной, а невестка его все: пащенок да пащенок. Это Сергунчика мово. Без отца я его родила. Так что ж? Мне даже еще лучше. Учли мое слабое положение — в детский дом определили...

Она поерзала молча, скатилась с крыльца и, поминутно озираясь, цепляя короткими ногами бурьян, пошла за избу — от беды подальше.

А то отгонят ее заградчики в тыл. Она там, в тишине, с ума спятит. В грохоте пальбы, под бомбами, на пожарищах она вроде бы долю держит в смертельных усилиях за Ржев.

Вернулся с задания разведчик Пыриков. Доложился майору. Потом сбросил выданную ему гражданскую одежду, ополоснулся, сбрил щетину, поел и, покуривая, ожидал меня.

Мы уселись на бревнах позади дома, лопух цеплялся за голенища наших сапог. Из леса тревожно тянуло прелью, так пахло когда-то в той, другой

жизни, где не было войны, а «Иван-да-Марья» ходили в школу.

Солнечный луч выкарабкался из-за облака, стрельнул по лицу Пырикова. Глаза в крапинку, чубчик из-под пилотки косит на бровь. Один он у нас, единственный такой удачливый разведчик. Где остальные, что с ними, пока ничего не известно.

Мы разобрали с Пыриковым его маршрут. Как и где прошел он, какие у немцев новые ограничения и запреты для передвижения гражданских.

В мои обязанности входит изучение обстановки за фронтом противника, чтобы разведчики, когда отправляются на задание, знали, что их ждет. Оказывается, вчера в Ржеве мужчин от шестнадцати до семидесяти лет стали хватать без разбора под стражу. На всех перекрестках поставлены полицаи. Пыриков отсиживался на станции Глеино, обошел Ржев, пробираясь к переднему краю.

Он вдруг ухмыляется, ему не терпится поделиться.

— Я с одной познакомился в Глеине. Вы бы поглядели — удивились. Коса — вó, — он показал кулак. — Может, приставная, еще не проверил пока.

Он ловко вскакивает перед подошедшим майором, застегивает ворот гимнастерки. Стоит навытяжку. Шея тоненькая, оттопыренные уши светятся насквозь, перепончатые, как листок с дерева.

Майор строго оглядел своего разведчика. Единственного.

— Отдыхай иди.

В переводе это значит — предстоит задание.

— Есть отдыхать, — снисходительно говорит Пыриков.

Танк поелозил и сполз под дом, затих. И мы услышали: над головой у нас, высунувшись в оконце хлева, восхищенно вздыхала Дуся:

— О-ой! Ну хорош парень!

Она выкатилась со двора — наскучило отсиживаться, — запричитала:

— О, господи, божья мать, царица небесная. А изверг все во Ржеве. Сергунчика никак не ослобонят...

Майор морщился, едва терпел, потом вдруг смекнул:

— У вас что, ребенок во Ржеве?

— В детском доме, как же. Директор очень довольный им...

— Значит, такие у вас обстоятельства... — И качнулся с носков на пятки и опять — с пяток на носки. — Вас Дусей звать?

Серые запавшие глаза его выжидательно сузились.

— Дуся, Дуся, — через минуту сказал он, что-то обмозговывая, и проницательно глянул на меня, и я увидела: маета с него спала, и все привычное, дельное опять выстраивалось в нем. — А ведь вам в Ржев идти надо.

— Надо, надо. А как же.

— Выходит, так, что вам сейчас идти, не дожидаясь...

— Выходит, так, — важно сказала она, польщенная тем, что майор вникает в ее обстоятельства. Но вдруг попятилась и забормотала: — Ну уж нет. Ей-богу...

— А то немцы отступать будут и детдом угонят.

— О-ой! — застонала она и стала скрести под платком голову.

— Надо идти! — с воодушевлением сказал майор. — На сегодняшний день больше некому. — Он бы сам пошел, если б мог, не стал бы никого уговаривать, я знаю. — Заодно армии поможете. Общее у нас с вами дело...

Откуда, казалось бы, Дусе понимать, о чем это он, но она одним с ним воздухом дышит, схватывает на лету. Она шагнула вперед, развела руки:

— Режьте на куски! Не пойду.

Майор взялся за козырек фуражки, надернул ее на глаза, потом опять сдвинул к затылку.

— Дело ваше. Вы — не солдат, вы своей жизни сама хозяйка. — Повернулся, сказав мне: — Пошли.

В избе он разложил план Ржева и показал мне мост через Волгу на Красноармейскую сторону, Казанское кладбище на отвесном берегу — маршрут для Дуси.

— Запоминайте. Времени у нас в обрез.

Он в самом деле поручал мне подготовить задание для Дуси. Но ведь она не согласилась.

— Согласилась, — сухо сказал майор.

Мне уже не раз приходилось убеждаться: он понимает что-то такое, чего я никак еще в толк не возьму. Для меня, что ни человек, дебри.

— Ей куда легче в город пройти, чем ему.

Это правда. Пырикову не то что труднее, а, пожалуй, невозможно попасть сегодня в Ржев. Тут же схватят. Но господи, божья мать, царица небесная, кого только война не подбирает.

Майор отстегнул ремень, повесил его за пряжку на гвоздь и стал править бритву на ремне, и она уютно зашелестела: жи-их!

— А в случае чего... Короче, если попадется —

так она ничего не знает. Ей нечего немцам рассказать.

И это правда.

Я полистала рукописный справочник по Ржеву. «Детских домов — один. Имени Луначарского. Каретная улица, 14». Проследила по плану Дусин маршрут с Казанского кладбища мимо меченных черным карандашом майора — разрушены бомбой или снарядом — старых дореволюционных лабазов, через школьный двор с молодыми яблонями, по немощеной Каретной. Я вела пальцем вдоль четного ряда и остановилась в смятении. Позвала майора, показала — на плане дом № 14 был перечеркнут накрест карандашом — разрушен бомбой или снарядом.

Секунду мы смотрели в лицо друг другу. Потом майор молча попробовал бритву на ногте.

— У нас выбора нет. Семнадцатая эсэсовская дивизия прибыла в полном оснащении, а у нас никаких данных, где они сосредоточивают артиллерию. А о детдоме она все равно узнает, — сказал он. — Днем раньше или позже. Так хоть пользу человек принесет. Главное, чтоб она сперва попала на Казанское, когда еще ни о чем не знает... — И он наклонился над планом, чтоб проверить ее маршрут. — Теперь походите, подумайте и возвращайтесь с готовым решением. Задание творческое. Тут важно, чтоб крепко вас осенило.

Танкисты волокли по улице молоденькие елочки из ближайшего леса — для маскировки машин.

Я бродила по деревне, и никакие дельные мысли не шли мне в голову. Дуся, Дуся. Заградчики не

загребут, так разведчикам попадешься. Не ходи, глупая, возле войны.

Может быть, ее нет уже в деревне. Скрылась, и ладно. Но подозрительно дымилась банька, что пониже нашей избы у ручья. Я толкнулась в запертую дверь. Дусин голос выспросил из-за двери, кто тут, и меня впустили.

Пар валил сюда, в предбанник, из другой, внутренней двери, куда скрылась голая Дуся. Я стянула сапоги и прошла по настеленным жердочкам за ней.

— Затворяй! — крикнула мне Дуся и плеснула воды из ковшика на раскаленные камни.

В парной мгле я видела Дусины короткие, тупые ноги, грубо схваченный вдоль и поперек рубцами кесарева сечения живот, шею с намокшей веревочкой. Она блаженствовала. В ней была сейчас какая-то звероватая женственность, особенно в ее лоснящейся, выпуклой, розовой спине.

— Что выдумали! Кому-нибудь сказать — на смех. «Окромя тебя, Дуся, некому», — передразнила она майора. — Да у вас цельная армия солдат. А что придумали. О-ой! Невестке моей рассказать, она б обхохоталась.

Теперь я сообразила, видя крест кесарева сечения на ее теле, почему она говорит о сыне: я его из живота родила.

— Гляди сюда, — сказала она и пригнула голову. — Все волосья́ — косячками. Это от бомб. Как бомбят, волосья́ от страху обламываются.

Я поняла, что ей страшно, но она не отступится — настал ее денек. Ее уже прихватило, понесло, и она только отнекивается, а сама примеряется, чтоб идти в Ржев. Откуда только майор все это знает.

Дуся опять стала мыться, оплескиваться из шайки, фыркать и блаженно повизгивать.

Я торопливо обдумывала Дусину задачу. Значит, так: старообрядческое Казанское кладбище на крутом берегу Волги. Два громадных замшелых креста на купеческих могилах прошлого века. Таких огромных нет больше на всем кладбище. Бутылочка машинного масла у Дуси, вместо гарного, чтоб засветить на одной могиле лампадку и для верности — на другой. И все. Больше нам от нее ничего не требуется. Только б добралась до кладбища и засветила.

— Раздевайсь! — крикнула Дуся. — Спину потру.

Я не стала раздеваться. Села на корточки — внизу у пола было прохладнее и легче дышалось и не так ело глаза.

Куда это она направляется? В детдом идет, имени Луначарского, к Сергунчику. Зачем крюк дала на кладбище? Лампадку понадобилось засветить — божье дело, — чтоб сыночка невредимым застать. И пойдет она дальше пробираться на Каретную улицу к дому номер четырнадцать, меченному черным крестом на плане у майора.

— Теперь кваску бы. Хорошо! — сказала Дуся.

Только бы вспыхнули лампадки. Кому надо, увидит. Будет знать: пора заступать на смену погибшим. И опять к нам понесутся сигналы и будем бить прямой наводкой немецкую артиллерию.

Дуся прошлепала мимо меня с пустой шайкой и стала наполнять ее горячей водой из чана, стоя ко мне боком, — коротышка, спина гнута, ключица наружу выступает.

— Ты бы уходила отсюда. — Я сказала, и самой мне стало страшно.

Дуся быстро обернулась и, пригнув серую от непромытой золы голову, изучала меня.

— Чегой-то ради?

Подняла шайку над головой и окатилась, обжигаясь, охая, брызгаясь.

— Послушай, может, детей там нет, может, их в тыл отогнали, а дом, может, сгорел. . . Куда ж ты пойдешь?. .

Она подскочила ко мне с мокрым, искаженным лицом, по ключицам текли струйки воды, медный крестик трясся на груди.

— Ты — чокнутая! А у меня сынок есть, Сергей Иванович! Во Ржеве он! Ждет меня. Что? Поняла?

Я ничего не ответила, ушла в предбанник, обулась — и на улицу.

Пыриков сидел на подножке полуторки, завернувшись в плащ-палатку, и курил. Ему предстояло провести Дуню через передний край до нейтральной полосы.

На крыльце рослая женщина в клетчатой юбке — председатель колхоза — «занаряжала» своих бригадиров. Они сидели вокруг нее на ступеньках, все в платочках, завязанных под подбородком, переговариваясь:

— По косогору, где лен, немец бузует из минометов.

— Убьют, забота не наша. Убьют, так закопают.

БОЙКАЯ ДОРОГА

Шофер ушел за подмогой. Комроты вылез из кузова и сел на его место в кабину. Мимо шел солдат с переднего края, попросил у комроты закурить.

— Волга тронулась сегодня, — сказал он. — А у него немецкая «катюша» завелась — шестиствольный миномет.

— Ничего, — сказал комроты и отсыпал на газетинку махорки солдату. — Пособи машину сдвинуть — засела.

— Рад бы, — ответил солдат и просунул в окно кабины забинтованную руку, — санбат ищу.

И побрел дальше.

Девушке-регулировщице он издали закричал:

— Что пост свой вперед не переносишь? Поспешай, красавица, солдаты уже за Волгу ушли. Не догонишь!

Она засмеялась и поправила ремень винтовки. Он уставился на ее ноги в обмотках и толстых ботинках.

— Что глаза разинул?! — крикнула она ему.

Он промолчал, а когда поравнялся с ней, сказал тихо:

— Стоит, стоит, бедняжечка, как рекрут на часах.

— Проваливай, — ответила она, взмахнула флажком вверх и в сторону перед выскочившим из-за поворота вездеходом и взяла под козырек. — Там дальше указку увидишь, где тебе сворачивать.

Он вовремя отскочил от машины на обочину и крикнул регулировщице на прощание:

— Ловко у тебя получается. Обратно пойду — поучусь.

На столбе стрелка с красным крестом указывала вправо. Повстречался верховой. Он спешился, подергал коня за уздечку.

— Цурюк! — крикнул он коню, выходя из себя.

— Пленная? — спросил его солдат.

Тот утвердительно мотнул головой.

— Свернуть мне раньше надо было, проехал. Не понимает по-нашему. Цурюк! — снова закричал он.

Солдат поднял левой рукой хворостинку с дороги, стегнул коня и крепко изругался. Конь дернул мордой, попятился и начал медленно заворачивать.

У дороги стоял дом. Солдат вошел.

Двое мальчишек на полу кидали кости. Женщина подала ему воды, спросила про дела на фронте. Он присел, сдвинув поудобней винтовку. Она заметила, что он глядит на мальчишек, объяснила ему:

— В жохи играют. Это у нас старинная игра на пасху. А пасха была в последнее воскресенье или будет в нынешнее. А точно никто не знает.

Он пододвинулся к ребятам, присел на корточки, стукнув об пол прикладом, порылся в кармане гимнастерки, вытащил рублевку и бросил ее в кучу мелочи. Мальчишки заерзали, передали ему четыре одинаковые телячьи кости. Кладешь на ладонь, подбрасываешь. Как лягут на пол, бугорком ли кверху или гладким боком?

Он бросил, мальчишки крикнули:

— Два! — И старший забрал кости и тоже бросил.

— Три! — ахнул младший.

А старший показал на карман солдата и сказал:

— Приваривай.

Солдат вынул еще рублевку и опять бросил кости.

— Свара! — закричали мальчишки.

— Ничья, что ли? — спросил солдат. Он поднялся и простился. Женщина вышла на крыльцо показать ему дорогу.

— Тропой пойдешь через лес, там обратно на бойкую дорогу выйдешь, и первая деревня как раз Заложье будет.

Солдат поблагодарил и пошел.

— А что, скажи, немец не вернется? — спросила его, осмелев, женщина.

Солдат остановился и покачал головой.

— Нам отступить нельзя.

— А дорога ведь стала, — сказала женщина.

— Стала, — подтвердил солдат.

— Ни пройти, ни проехать. Теперь пока все стает да подсохнет, месяц, а то и больше пройдет. А ведь вам еду подвозить надо.

— Надо, — сказал солдат. — Без табаку туго.

Мимо по дороге вели раненых лошадей в ветеринарный батальон. Большие артиллерийские лошади одичали с голоду. У канавы они останавливались и отказывались идти.

— До клевера не дотянут, — глядя на них, сказала женщина, — а овса нет. Резали бы их да армию кормили. Если поварить дольше — не жестко.

— Нельзя, — сказал солдат, — строжайший приказ беречь их до последнего. Виновных под суд.

Он пошел.

— Вот и ты пострадал, а пешком идешь, — сказала она ему вслед и покачала головой.

— Ничего, мать, не печалься, — ответил солдат, — от пешки нет замешки.

Тропинка шла лесом. В лесу связист снимал шестом линию с деревьев. Другой шел ему вслед, на животе у него в открытом деревянном ящике вращалась катушка, накручивая провод.

— Связь сматываете? — спросил солдат. — Далеко я забрел.

Тропинка кончилась. Солдат вышел на большак. Стрелка показала: два километра до деревни Заложье. Солдат остановился и перевел дух.

У дороги лежала полураспряженная лошадь. Под деревом на куче наломанных веток сидел пожилой боец-ездовой.

— Подымется? — спросил про лошадь, подходя к нему, солдат.

Ездовой покачал головой.

— Обожди, недолго осталось.

Солдат глянул на наполненный снегом котелок у ног ездового.

— Н-да, — протянул он.

Опустил левое плечо, и ремень с винтовкой сполз к земле. Он удержал винтовку, прислонил ее к стволу дерева и присел рядом.

— Закурим, — сказал он и достал из кармана шинели махорку, что отсыпал ему комроты.

Ездовой надвое разорвал газетинку и свернул по цигарке — солдату и себе.

Солдат прислушался, как гудят провода вдоль дороги.

— В ушах пищит, — сказал он.

— В ушах пищит у того, кто поросенка съел, — сказал ездовой, — есть у нас такая пословица.

Солдат поглядел на лошадь.

— Если поварить хорошо — не жестко.

Морда лошади была обращена к ним. Грустно, обреченно вздрагивало короткое веко. Ездовой встал, прошел к саням в набухших водой бурых валенках, стал снимать с винтовки ножевой штык.

— Обожди, — сказал ему солдат, — под суд пойдешь.

Ездовой передумал, сунул винтовку снова в солому и вернулся под дерево.

— На передовую чудом дотащились, обратно никак, — сказал он. — Третий час будет, все сижу тут, за ней присматриваю. Что делается, — продолжал он, кивнув на дорогу, — дорога какая. А все едут. Машины застреют — гонют лошадей, на собаках везут, на себе тянут.

— Это верно, — сказал солдат, — нам отступать никак нельзя.

— Кончилась, — проговорил ездовой, глядя на лошадь.

Солдат не слышал.

— Нам отступать некуда, — продолжал он. — Волга сегодня тронулась, а наши на той стороне. Теперь сам понимай.

— Это точно, — сказал ездовой. Он встал, отворотил на себя оглоблю и позесил на нее котелок со снегом.

— Зажигай, — сказал он солдату, выдернул из саней пук соломы, бросил под оглоблю и взялся за сучья.

ПО ПУТИ

— Пришли, что ли? — переспросил инженер.

— Пришли, — ответил Рябов, — это мой дом.

Рябов пропустил инженера и младшего воентехника вперед, вошел в дом последним.

У окна старуха вязала сак.

— Присядь, желанный, — сказала она инженеру и юбкой обтерла скамью. — Мы нездешние, мы погорельцы.

Девочка на печи сбросила одеяло и села, сомкнув колени.

— Папа, — позвала она.

Рябов погладил ладонью колено девочки и полез в карман за сахаром.

— Все хвораешь. Чего ж это ты, Надежда?

Дверь отворилась.

Старуха толкнула инженера под локоть.

— Хозяйка, — хихикнула она и прикрыла рот саком.

Инженер стряхнул под лавку пепел с папиросы и поглядел на дверь.

— Здравствуй, Матрена, — сказал Рябов, — я пришел.

Она с порога поклонилась, молча и не снимая коромысла с ведрами.

— Это мое начальство, — он показал на инженера, — и это.

Младший воентехник привстал. Она снова поклонилась.

Из передней комнаты вышла рыжая девушка-связистка.

— Что за люди здесь? — спросила она громко.

Инженер закашлялся.

— Из трофейного отдела, — ответил он и спрятал мундштук. — Тут неподалеку от вас сбитый немецкий самолет сгорел. Вот мы и идем туда освидетельствовать останки. Немного посидим и пойдем.

— Тут все в порядке, — протянул младший воентехник.

Матрена медленно двигалась по дому, ступая на пальцы босых ног, прямо держала голову на высокой шее.

Поклевывал пол маленький пестрый цыпленок. Было их восемь. Наседку отлучили, чтобы несла яйца. Наседка неслась, а цыплята умирали. Остался последний. Жил он один, пятнистый такой, невеселый.

Матрена поставила на стол сковороду, положила ложки.

Цыпленок попал в луч солнца, взъерошил перья, присел и остался сидеть на полу, похорошев от тепла.

Рябов положил ложку, вытер рот полотенцем и вышел в сени. Матрена вышла за ним. Он взял ее за руку и потянул за собой по ступеням во двор.

Двор крыт соломой. Высоко на шесте сохнут припасенные на зиму березовые веники. Под

самой крышей немец зимой прорубил окно, приставил лестницу и вел наблюдение.

Рябов ногой отворил дверь кладовой, пропустил Матрену. На земле в деревянном корыте доверху — очищенный овес, на низком чурбаке — колода карт.

— Ты гадать сюда ходишь?

Он взял ее за руку, а другой колючей ладонью накрыл ее белое, сбереженное от солнца лицо.

— На кого гадаешь, Матрена? Молчишь что? — спросил он громче и принял руки.

Он стряхнул колоду карт. Карты разлетелись, легли на земляной пол и в корыто на овес.

— Не надеялся так повстречаться, — сказал он, присел на чурбак и утер рукавом пот со лба.

Матрена молчала, мяла концы косынки.

Рыжая связистка вышла спросить, который час. Звонко пискнул и отбежал в сторону задетый сапогом цыпленок.

— Молчи, тьма кромешная, — крикнула ему старуха.

— Посидите с нами, — попросил девушку инженер.

Она обернулась к нему, и на лице ее вспыхнули веснушки.

— Некогда сейчас, товарищ военинженер, после войны посижу.

— Не везет вам в женщинах, — протянул младший воентехник.

С улицы вошел старик.

— Знакомься, — сказала ему старуха, — это наши знакомые.

Старик вытер руку о седую голову, поздоровался и сказал:

— Извиняюсь.

— Истопил? — спросила старуха.

— Истопил, сейчас и начальник приедет.

Старуха бросила сак и засуетилась.

Все разошлись. Инженер прошелся из угла в угол. На стене висело зеркало, обклеенное по кругу пестрыми ярлычками от катушек. На печи спала девочка.

Инженер остановился у зеркала, снял фуражку. Он чуть пригнул плечи и глянул на лысеющую голову. В зеркале смеялась женщина. Инженер надел фуражку и сказал, не оборачиваясь:

— А я не видел вас.

— Може, я была ушёчи, желанный мой. Я ихняя сноха. — Женщина прислонила к стене лопату. — Мы нездешние, мы погорельцы. Присядь, желанный, — говорила она, развязывая у зеркала платок на голове. — Это с вами, что ли, хозяйкин муж пришёчи? Ох, беда. Уж в другой раз приходит. И самою жалко, и мужик ни при чем.

У нее синие глаза и бойкий, напевный говорок.

— И мужик ни при чем, и самою жалко.

Она принялась мыть руки под рукомойником. На спине ее натянулась белая ситцевая кофточка. Она в горсть набирала воду и мыла лицо и шею. Пряди волос у затылка намокли и потемнели.

— Тут у нее при немцах партизанский командир

прятался, — говорила она, утираясь холщовым полотенцем. — Потом она к нему в лес убёгши была и девочку с собой брала.

Она глянула на печь. Девочка спала.

— Отчаянная она, — продолжала она шепотом, подойдя к нему близко, — а девочка с той поры все в коленях болеет.

Ему было приятно, что она стоит рядом, нравился ее говорок и то, как вкусно мнет губы, когда замолкает.

— А как наши пришли, партизанский ее командир со всеми на фронт ушёчи и с той поры не пишет, и не слышно, не то убили его, не то позабыл. Так хозяйка днем-то ничего — крепится, а ночами, слышно, плачет.

Инженер шагнул к ней и, не зная, куда деть руки, сунул их за спину.

— Как звать? — сказал он и шагнул назад.

Она быстро глянула на него от головы к ногам и засмеялась. На загоревшей тугой щеке обозначилась ямка.

— Вам ничего, вы вместях все, — сказала она, насупившись и вытирая ладонью клеенку стола, — а нам плохо — скука.

Он пошел к двери.

— Куда ж вы? — крикнула она ему вслед и снова засмеялась.

Инженер вышел из дому. Рыжая связистка выпрыгнула в окно и пошла на дежурство. Старик по пояс просунулся в отверстие, которое прорубил зимой немец, чтобы вести наблюдение, и кричал старухе, закрывшейся в бане:

— Куда полезла, нечистая сила! Пар весь загубишь!

Из бани высунулась мокрая голова старухи, и дверь опять захлопнулась.

Из растворенного окна напротив доносился голос рыжей связистки:

— «Тонна». «Тонна». Я «Ведро». Я «Ведро». Не слышу вас. Слышу вас.

— И везет некоторым, просто зло берет, — говорил по дороге младший воентехник, — армию перебрасывают, и они около родного дома оказываются.

Инженер ушел по меже вперед. Сутуловатую спину его накрест пересекали желтые ремни. Зацветала рожь. Синели молодые васильки.

— Присядь, желанный, — сказал он себе вслух и засмеялся.

— Ну, что молчишь-то? — спрашивал младший воентехник Рябова. — Рассказал бы хоть, как приняла, как приласкала тебя, дьявола. Потрави душу, что ли.

Быстро садилось солнце. Инженер остановился и вынул карту.

— Пришли, — крикнул он, — получайте задачу!

ЗЯТЬКИ

Дарья ушла из дому, повязавшись праздничным пуховым платком.

В город Красный немцы согнали раненых и больных пленных, непригодных к труду. Слышно стало по деревням: можно идти в лагерь отыскивать своих мужей.

Стояла поздняя осень первого года войны.

По большаку стелились сорванные провода. Убитая лошадь запрокинулась крупом в кювет, выбросив кверху сухие ноги.

Чем ближе подходила к городу Дарья, тем труднее ей было вызвать в памяти лицо Степана.

— Степушка, — повторяла она, стараясь унять страх.

Становилось холодней. Галки стаями кружились над полем в пасмурном, нависшем небе.

При въезде в город у перекрестка Дарья остановилась, уступая дорогу: пятнистая корова тянула двуколку. Поверх узлов со сгнившим по ямам барахлом сидела белесая девчонка. Посинелые колени ее приходились вровень с подбородком, из

протертых бурых валенок торчали пальцы. Позади шел старик в черной одежде.

«Погорельцы, — подумала Дарья. — Господи, еще и хуже нашего есть живут».

Она шла по улицам Красного, не узнавая домов, через город к пустырю, где стояло новое кирпичное здание школы. Пока ждала у забора в толпе баб, когда впустят, не замечала ничего вокруг, руки и ноги слабели.

На школьном дворе, обнесенном колючей проволокой, Дарья шла за женщинами от одного лежавшего на земле пленного к другому, торопясь дальше, за дом, где, сбившись в кучу, заслонялись от ветра все, кто мог дойти, доползти туда. Там долго пробиралась среди пленных, вглядывалась в лица. Плохо сознавая, что делает, скинула с головы платок, стояла посреди двора, ждала: вдруг сам признает, окликнет ее. Потом с трудом развязала узелок, не глядя в лица, раздала принесенные пироги и уже направлялась к выходу, когда начали приподыматься следившие за ней пленные:

— Возьми!

— Я дойду! — сказал один.

Не помня себя от горя, Дарья не нашлась что сказать, и пленный оперся о ее руку и прикрыл пилоткой лицо.

Немцы кричали что-то им вслед. А у ворот ждавшие своей очереди женщины ахнули, завидя их:

— Нашла! — Они долго смотрели им в спину.

Пленный тяжело опирался на ее руку, часто дышал. Она кутала лицо в пуховый платок и страшилась взглянуть на него.

Ее мучили раскаяние и страх, и, не дойдя до

деревни, она остановилась и села на землю. Он рухнул рядом, лежал с закрытыми глазами. Их отделял от деревни только небольшой холм, но Дарья ждала, когда стемнеет.

Они подошли к дому в темноте с огорода. Он уснул на полу, а Дарья далеко за полночь стирала его одежду и часто опускалась на лавку, протянув на колени руки, отчаявшись за будущее.

Он прожил большую часть зимы под полом — негде было прятать его. Дарья посыпала золой рану на его плече, неумело бинтовала старыми, отстиранными тряпками.

С весной, когда потеплело, он выполз на крыльцо, на солнышко, и в деревне разглядели его, черноволосого, с бледным лицом, и ахнули:

— У Дарьи «зятек» завелся.

Староста, узнав про это, махнул рукой:

— Работник будет.

Их теперь много оказалось вокруг. Так и стали их звать повсюду — молодых парней, припрятанных солдатками, — «зятьки».

Фронт был далеко. Деревня Зуньково стояла в стороне от дороги, и немцы наезжали сюда лишь изредка. Здесь можно было жить. Но с первым теплом начали исчезать из деревни осевшие было красноармейцы. Уходили ночью, тайком, искать партизанский отряд.

Уже подсыхали ручьи, пахло почками. В такие дни сильнее верилось в будущее, но жилось тревожнее, тяжелее.

Дарьиного «зятька» звали Михаил. Он был еще слаб, не ходил работать в поле, оставался дома с Дарьиными детьми — маленьким Вадькой и Зойкой, рослой больной девчонкой. Ее после контузии

донимали припадки. Она часто принималась выкрикивать бессвязные слова, громко и хрипло смеялась, потом затихала, вобрав голову в плечи, и подолгу спала.

Был в разгаре июнь, когда однажды Дарья шла домой с поля. Полевая чайка, беспокойная птица, взлетала и кружила над лугом. Кричала резко: «кри́-вой! кри́-вой!», тоскливо металась, зовя кого-то. Она вьет гнездо на земле и, если приблизиться к нему, отлетит в сторону, станет биться о землю, отманивать на себя.

Дарья прислушалась к тревожному крику птицы и пошла дальше, не сразу узнав шедшего ей навстречу Михаила.

— Ты чего? — спросила она, когда, не дойдя до нее, он остановился.

Голова его густо и неровно обросла черными волосами, лицо потемнело, слинявшая гимнастерка была туго заправлена в шаровары.

— Встретить вышел, — сказал он.

Перекинув на плечо лопату, она стояла, чуть осев на одну ногу. Плечи, поясницу разламывало от усталости.

Он глядел на ее запотевшее лицо, грузноватое тело, на босые ноги с выжженной солнцем сухой кожей, съежившейся у пальцев, и бледно-розовая краска пробивалась на его лице.

Они пошли к дому. Медленно скатывалось на запад солнце, ложилась роса. Тропа через луг зацветала ромашками. Влажный пух одуванчиков взлетал под ногами и густо лепился на сапоги Михаила.

В ту же ночь он пришел к ней. Луна заливала пол, было душно в избе. Дарья не отстранила его, приняла так, точно ждала давно.

Поднялась до рассвета, ушла в кладовую, заложила поленом дверь изнутри и, припав головой к притолоке, всхлипывала вволю, тихонько причитала. Немецкие мотоциклы в деревне, самолеты над избой, зарево, Зойкины припадки, разор и страх. «Господи, твоя воля», — растравляла она себя.

Весь день неприкаянно слонялась по дому, не смогла собраться с силами, выйти в поле.

Проходили дни. Помня, что Михаил окрепнет и тоже уйдет в партизаны, что ждет его пуля или петля, Дарья жалела его, привязывалась к нему горячее и уже больше не корила себя.

Он прожил всю жизнь в городе Курске, работал шофером. Она едва умела представить себе этот незнакомый ей мир, он же ничего не рассказывал о своей жизни, и все связанное с его прошлым казалось ей важным, волновало ее.

Воскресным августовским утром Дарья сидела на лавке перед квадратным, треснувшим наискосок зеркалом со стертыми переводными картинками вдоль рамы, расчесывала густым гребнем мокрые волосы. Сыпались на пол, разлетались в сторону капли воды.

На печи принесенный только что из бани Вадька чмокал над кружкой с козьим молоком.

В избу, не постучавшись, вошла старуха Прасковья в теплом армейском ватнике. До войны эту старуху редко можно было увидеть в деревне. Немногие помнили, что когда-то у нее был муж, пья-

ница и задира. Он жестоко бил ее, и еще при его жизни Прасковья начала попивать. Она шлялась по селам, много пила с мужиками, нанималась ненадолго на работу, а когда нечем было кормиться, возвращалась в деревню и у жившего в ее дому племянника отсыпалась месяцами, балагурила, нагуливала тело и снова исчезала.

Она лечила травами, была солона на язык, ее уважали и побаивались. Когда пришли немцы, племянник к тому времени был уже давно в Красной Армии и жена его съехала в свою деревню к родным. Прасковья забедствовала, затосковала. Потом опомнилась, исчезла куда-то ненадолго, вернулась домой с ворохом рваных автомобильных камер и принялась выкраивать и клеить калоши. С тех пор по воскресеньям она торговала в Красном на рынке самодельными калошами на валенки, ввязывалась в драки с полицаями, отнимавшими у крестьян их товар, возвращалась в деревню битая и навеселе.

— Твоя изба крайняя, к тебе и зашла передохнуть, — говорила она, усаживаясь на лавку у печи и бросив на пол пустой мешок. — Где Мишка-то?

— В бане моется, — ответила Дарья, продолжая расчесывать волосы.

— Что после тебя-то? Иль пару не любит? — Старуха засмеялась. — Последний мужик, что пару боится. Чего брызжешься? — крикнула она.

Дарья обернулась.

— Да ты выпивши.

— Ты меня, что ли, поила? — заносчиво крикнула старуха. Но, тут же успокоившись, расстегнула ватник и откинулась к печи.

Выпавшая из рук уснувшего Вадьки жестяная

кружка загромыхала на полу. Старуха вгляделась в висевшую на стене фотографию в самодельной рамке, встала и подошла ближе. В рамке стояли Дарья в первый год замужества, с крупными бусами на шее, опустив руки по бокам серенького платья, и прислонившийся к ней плечом рослый Степан в новых сапогах, широком галифе и черной косоворотке. Старуха разглядывала фотографию, норовя сковырнуть рамку с гвоздя.

— Не трожь! — крикнула Дарья.

Прасковья подмигнула ей, покусывая выгоревшие губы желтым, уцелевшим в верхнем ряду зубом. Попятилась, затоптав ногами мешок.

— Я свово не любила, — отрывисто сказала Прасковья и нагнулась за мешком, — а тело свое с другими не разбазаривала.

Подняла мешок и пошла из избы. Не дойдя до околицы, она вернулась, подошла под окно и, просунув голову, крикнула:

— Был бы еще молодец, партизан или душегуб какой-нибудь. Пару боится, тьфу, черт. . . А-а, любезный, — запричитала она, увидя вошедшего в дом Михаила, — поднеси старухе ради праздника. С легким паром никак.

— Иди, иди уж, — сказала Дарья, затворяя окно.

Прасковья полезла через плетень, задирая ноги в больших серых чесанках с красными калошами.

Михаил сунул под лавку узелок с бельем и зачерпнул холодной воды. Дарья расчесывала волосы. Он пил, глядя на ее открытые выше локтей розовые после бани руки, широкую спину, взмокшую на лопатках белую кофту и, выплеснув воду в кадку, подошел к Дарье и крепко обнял ее.

К осени стало слышно про партизан. Горели немецкие склады, рушились под откос поезда. В деревнях притаились, ждали карателей. Когда в Красном немцы повесили партизан, женщины заголосили, снарядили в город Прасковью — опознать, не свои ли.

Дарьи сторонились, корили в глаза и в спину. Только соседка, тетка Анюта, дальняя родственница Дарьи, да глупая длинная Авдотья еще продолжали забегать к ней.

Бывало, так: с утра Дарья стирает белье, тут же Зойка латает Вадькину рубашонку. Дарья разогнется от корыта, стряхнет пену с рук, подойдет к окошку. Пестрый кустарник теряет листву, чернеют шапками опустевшие грачиные гнезда.

Михаил рубит дрова. Он высоко заносит одной рукой топор за голову, подтягивает к топорищу больную левую руку и опускает топор на полено. Голенища сапог тесно прихватывают его ноги.

Дарья замрет у окна, круги пойдут в глазах, ухнет сердце. Выбежать бы к нему, упасть, обхватить его ноги, прижаться и смотреть на него снизу — топор занесен у него над головой, — жутко и сладко замрет сердце.

Вдруг, очнувшись, она всмотрелась, различила что-то на дороге и застучала по стеклу. Но он не слышит. Она выбежала на крыльцо, и, завидя ее, Михаил уже все понял и бросился за дом. Они приближаются, два верховых в темных шинелях полевой жандармерии. Дарье не поднять головы, кажется, силы оставят ее сейчас. Но вот копыта простучали мимо, и Михаил выходит из-за дома с топором в руке. Лицо у него побелевшее, перекошенное, чужое. Он долго ни за что не принимается,

простаивает на крыльце, глубоко засунув руки в карманы изношенных красноармейских шаровар, уставившись вдаль поверх грачиных гнезд.

В такие дни они тяжело молчат, точно виня друг друга.

Ночью она просыпается и, томимая тревогой, крадется к печке, где он спит с ребятами. Шарит руками и возвращается на свое место, успокоенная: «Куда ж идти, мыслимо ли. Кругом поля, лесов нету. Где их искать, партизан-то. И не дойдешь, схватят».

Опять до поры все идет по-прежнему. Но не стихает в Дарье беспокойство и смутное, давящее чувство вины.

Уже давно выпал снег.

К ночи избу выдуло. Стыло тело под лоскутным одеялом. Дарья натянула на себя поверх одеяла длинный ватный пиджак, согрелась и уже задремала, когда ей почудилось, что кто-то дергает щеколду. Она соскочила на пол, подбежала к окну. На улице темень, не разобрать ничего. По памяти нашла припрятанный коробок спичек, зажгла коптилку. Прислушалась. Снаружи теребили дверь. Босая, в нижней юбке, с мерцавшей в руке коптилкой, Дарья прошла в сени, чужим, испуганным голосом крикнула:

— Хто?

— Свои, — негромко ответил незнакомый мужской голос.

Она перевела дух, обождала.

— Отвори, — повторил человек снаружи и подергал дверь.

Она отодвинула засов и впустила незнакомого, прикрывая от ветра огонь.

— Немцев нету? — спросил он и шагнул в избу.

Она вошла за ним, едва успела поставить коптилку на притолоку, ноги подкосились, она схватилась руками за лицо, простонала:

— Степан!

Большой, в овчинном полушубке, он тяжело, с трудом опустился на лавку.

— Тсс! — прошептал он. — За другого приняла.

Она отодрала руки от лица, глянула. Коптилка разгорелась. Он сидел такой же широкоскулый, большеротый, как Степан. Лицо его исказилось от боли.

— Ну, — сказал он грубо, — снегу неси, не видишь, что ли.

Она быстро оглядела его и тут только заметила, что сапог на нем нет, разутые ноги кое-как обмотаны портянками.

Она ахнула, подхватила таз и выбежала босая на улицу.

Стоя перед ним на полу на коленях, она отодрала, изрезала ножом замерзшие портянки, принялась оттирать ноги снегом. Он стонал от боли, просил шепотом:

— Да не греми ты так, кого-нибудь подымешь.

Она изо всех сил терла ему ноги, не слушая его стоны, не чуя больше своих рук.

— Партизан? — спрашивала она, осмелев. — От немцев убег?

— Отходит, — радостно прошептал он и пошевелил пальцами ног.

Дарья вдруг всхлипнула.

— Ты чего? — изумился он.

Они оба заметили, что руки его в запекшейся крови. Он принялся оттирать их снегом. Остатки снега в тазу быстро окрасились в розовый цвет.

Дарья выбежала за свежим снегом.

Когда вернулась, он, скинув полушубок, осторожно пробовал ходить. На нем были немецкие зеленые штаны и немецкий китель без ремня. Она вдруг вспомнила, что стоит перед чужим человеком в нижней юбке, но тут же забыла, кинулась растапливать печь. Он остановил:

— Всех перебудишь. Я пойду затемно.

Дарья отыскала старые, худые валенки Степана. Он обул их, запихав в дыры соломы, надел полушубок, ушанку, взял узелок с едой, собранный ему Дарьей.

— Никто не слыхал? — спросил он ее в сенях. — Запомни — никого у тебя не было. Никому ни слова.

Он приоткрыл дверь на улицу. Слегка развиднелось перед утром. Дарью обдало холодом. Она дрожала.

— Обозналась, — сказал он дружелюбно и улыбнулся, широко растянув рот, — за хозяина посчитала. Ну, счастливо оставаться.

Он ушел. В избе все спали, и никто ничего не слыхал.

По-прежнему шли дни. Только Дарья чаще задумывалась, больше молчала. Старуха Прасковья принесла из города новость: партизаны спустили под откос немецкий эшелон. Вечером, дождавшись, чтоб уснули дети, Дарья нерешительно за-

вела разговор с Михаилом. Сбиваясь, она говорила ему про партизан, сокрушенно спросила:

— Что же мы-то?

Михаил опешил, разволновался и, успокаиваясь, твердо сказал:

— Бабы там только в тягость.

Она прислушалась к его голосу, и на душе у нее становилось тяжело и безрадостно.

Но через день Михаил, работая на дворе у старосты, неловко занес топор и задел плечо. Снова открылась рана. Дарья сыпала на рану золу, бинтовала, металась в беспокойстве, жалела Михаила и ни о чем не вспоминала.

В марте фронт двинулся. Немцы бежали из-под Ржева, жгли все кругом, угоняли людей. В деревне люди спешно закапывали одежду, прятали хозяйственный инвентарь. Теперь, когда недолго осталось ждать своих, каждому хотелось уцелеть.

День заметно увеличивался.

Когда в избе становилось сумрачно, Михаил выходил за околицу. В неподпоясанной ватной телогрейке, в изношенных сапогах, он простаивал на грязном жидком снегу до озноба в костях.

Немцы, отступая большаками, сжигали на своем пути деревни. Зуньково стояло в стороне.

Русские части вошли сюда неожиданно, не задерживаясь, двигались дальше, нагоняя немцев. Отставший боец спросил у Дарьи попить. Он поблагодарил хозяйку, ставя на стол опорожненную кружку, глянул на Михаила, усмехнулся:

— За бабью юбку держался!

Вечером играла гармонь, плясали девчата с красноармейцами, здесь же толпились бабы, ребятишки, мужики.

Деревня готовилась разместить штаб.

Утром красноармеец ходил по избам, переписывал пожилых мужиков и подросших парней — всех, кому идти в армию.

Михаил оживился, спешно и деловито работал по дому, наставлял Дарью и ребятишек.

На другой день тот же самый красноармеец стучал под окнами:

— Выходи строиться!

— Иду, — отозвался Михаил, вынув изо рта гвозди.

Он провел молотком по каблуку и отдал ботинок Зойке.

— На-ка вот, всю осень проносишь. Ну, теперь все, кажется.

Не вставая с табурета, он поискал глазами ремень. Зойка подала ему. Он неторопливо подпоясал черную косоворотку и сунул со стола в голенище сапога немецкую складную ложку.

— Будьте как все. Себя поберегите, — говорил он, — будьте как люди.

Он поднял с полу Вадьку, поцеловал его в губы и пошел к двери, накинув на плечи ватную телогрейку.

Дарья опомнилась, схватила с лавки небольшой узелок.

— В избе останься, — крикнула Зойке и потянула Вадьку к выходу.

Михаил уже спустился с крыльца, шел по улице. Он шел не быстро. Дарья с Вадькой догоняли его.

Их разделяло всего несколько шагов, когда Дарья вдруг в нерешительности остановилась.

— Ми-ша! — кричал Вадька и нетерпеливо перебирал босыми ногами.

Михаил не слышал. Они снова пошли за ним, теперь медленней. Глядя на черный затылок Михаила, Дарья с тоской подумала: «Без шапки». «Обстригут ведь», — повторяла она про себя и с облегчением чувствовала, как впервые за весь день к горлу подступают слезы.

За деревню собрались провожающие. Красноармеец с автоматом объяснил:

— Сейчас пойдем строем. Впереди — кто уже раньше в кадровой служил, в общем — кто в строю ходить может. А кто впервой идет — позади.

Заплакали женщины. Михаил встал в первый ряд третьим. Рядом с ним два немолодых крестьянина. Им в затылок пристроились несколько парней.

— Не по-русски настановились, — сказал сосед Михаила и вышел из строя, — или по четыре, или по два.

— Верно, — поддержал красноармеец, — у немца, что ли, выучились? Разберись по два.

— Михаил! — крикнула Дарья.

Он подошел к ней, перекинув на ходу стеганый ватник с плеч на руку.

— А узелок-то, — проговорила она, — сухари и белье тебе.

— Спасибо, — сказал Михаил, присел на корточки и улыбнулся Вадьке, нащупавшему у него в голенище складную ложку. — Щёкотно, не тронь.

— Пошли! — закричал красноармеец.

— Идите теперь, — сказал Михаил.

Дарья тронула его за рукав косоворотки, не сдержавшись, всхлипнула и, теряя память, на людях припала к его плечу.

— Догоняй иди, — тихо повторяла она, опомнившись и утирая глаза концами косынки.

Назад она шла не оборачиваясь, а Вадька извертелся весь и поминутно кричал:

— Миша!

Ветром подымало с земли сухие листья и разносило по улице. Старуха Прасковья с большим лукошком клюквы обогнала их. Далеко за холмом садилось солнце. Небо румянилось, обещая на завтра ветер. На холме возникали четкие на ярко-розовом фоне груженые машины, кони, пешеходы.

В избе на печи, свесив ноги, сидела Зойка.

— Собери поесть, — сказала ей Дарья и отставила заслон.

В дверь просунулась соседская девчонка.

— Теть Даш, — закричала она, — наши солдаты картошку откопали, а Зойка с утра корзинку бросила, пока не унес кто.

— Стихни, — выговорила Зойка и расхохоталась.

— Иди на улицу смейся, а тут не клуни мне голову, — сказала Дарья.

Зойка влезла на печь, подобрала ноги и затихла.

Вадька опрокинул табурет и бил по нему молотком.

Дарья ушла в чулан собирать вещи. Десять изб от края деревни займет штаб, и хозяева должны ненадолго переселиться на хутор. До позднего ве-

чера она работала на дворе, перетряхивала зимнюю одежду, ссыпала картошку и зерно. Боль от разлуки, от торопливого прощания сжимала грудь.

Уже стемнело, когда зашла соседка, тетка Анюта, седая, с непокрытыми, коротко остриженными волосами, в высоких сапогах.

— Собралась? — спросила она Дарью.

Дарья зажгла коптилку — такие немцы в Красном продавали за марки. Тетка Анюта села на лавку и вытянула ноги в высоких сапогах.

— Третьего сына проводила. Одни девки в дому остались. На хуторе вместе устроимся, а, Даш?

— Вместе, вместе, тетя Анюта. Все легче со своими.

Коптилка вспыхнула и разгорелась, в избе стало светло. Вошла длинная Авдотья, босиком, в ватном пиджаке и теплом платке.

— Холодно, ночью подморозить должно, — говорила она, подходя к столу. — Угоняют, угоняют нас. Плохо как с детьми малыми, в охапку не перехватаешь.

— Ехать недалеко, — сказала Дарья. — Вчера командир толковал — здесь штаб разместится. Так что все цело будет. Утром подводы дадут.

— Таська говорит, весна придет, на нас пахать станут, слыхала-то, — сказала Авдотья. — Она села к столу, выдернула концы платка из-за борта пиджака и освободила платок под подбородком.

— Врет эта Таська, — громко сказала тетка Анюта, — весной и войны не будет, машин, лошадей дадут. А ей, видно, с немцами хорошо жилось, что тут расплакалась.

— Во-во! — подхватила Авдотья. — Я ей и то говорю: на себе пахать не дозволю, у меня никак

два брата на войне. А вот на вас, полицаевых женках, попашем.

— Вокруг горит и горит, — сказала Дарья.

Вадька сонный подобрался к матери, лез на руки, бормотал:

— Подпалят, подпалят.

— Кто подпалит, Вадька?

— Немцы подпалят.

— Так немцев же нет, немцев-то погнали русские.

Вадька прижался к матери и замер.

— Ты что, Вадька? Ай, Вадька заснул, заснул сынонька мой.

Она подняла его на руки, прихватив подол юбки, и снесла на печь. Зойка проснулась, села на печи, свесив ноги.

— Ляг, Зоя, — говорила Дарья, стоя на лавке и гладя Зойку по волосам и спине, — поспи.

Зойка, закрыв глаза, тихо хрипела.

— У твоей Зойки ничего еще, — говорила Авдотья. — В Куракине так одна баба с той бомбежки беспрерывно икает. Тоже контузия.

Зойка смолкла, спряталась на печи.

— Ляг, ляг, — говорила Дарья и гладила Зойкины колени. — Два года никак исполнилось. Пора б пройти.

Дарья спустилась и села на лавку.

— Плохое позади осталось, — сказала тетка Анюта, — теперь вестей от наших ждать надо.

— Кто там? — крикнула, не подымаясь, Дарья.

Дверь лязгнула и затворилась.

— Михаил! — ахнула тетка Анюта.

Подбежала Авдотья. Они тормошили его, наперебой расспрашивали о своих.

— Ты чего? — спросила издали Дарья.

— Сапоги валяные тебе подшить забыл. Отпросился.

Она нагнулась к сложенным у печи мешкам. Он подошел к ней, когда тетка Анюта и Авдотья вышли из избы, тронул за руку:

— Ладно тебе, посиди. Мне ведь скоро назад идти.

— Накормить тебя хотела. Все ведь у нас сложено.

— После.

Они сели на лавку.

— В запасной полк пока определили, — сказал он, — снова шофером служить буду. Ну, где ж сапоги?

Она улыбнулась и прикрыла лицо ладонями.

— Какие там сапоги, все увернуто.

Вспыхнула и зачадила коптилка. Дарья поправила фитиль и снова села.

— Завтра форму выдадут, наверно, враз зимнюю.

— Обстригут? — спросила Дарья.

Кто-то прошел под окном. Слышно было, как повизгивали на коромысле пустые ведра.

Дарья прислушалась к улице, вдруг вздрогнула и глянула на Михаила.

— Миша, — позвала она, и голос у нее изменился.

Он взял ее за руку, пытался шутить:

— А сапоги как же?

Но она не улыбалась больше, упала головой к нему на колени. Долго беззвучно плакала, дрожали плечи, платок сполз с головы на пол. Михаил гладил ее волосы и не находил что сказать. Она

выпрямилась и проговорила медленно, без слез в голосе:

— Ты не забывай нас. Вместе ведь сколько пережить пришлось.

Он ответил:

— Жив останусь — заеду посмотреть, как вы живы. — Обнял ее за шею и притянул к себе. — Я и сам не чуял, что привык так.

С утра грузились на подводы. Тетка Анюта вышла с тремя дочерьми. Все в зимней одежде.

— Мы за подводой пойдем, — сказала Дарье.

Дарья кивнула и ушла в дом.

— Все, что ли? — спросила она у Зойки.

Зойка повязывала платок Вадьке на голову. Вадька хныкал и норовил сорвать платок.

— Иссохни ты, — сказала Зойка и дернула его за рукав пиджака.

Дарья принялась снимать занавеску с окна, но раздумала и опять закрепила ее.

Длинная Авдотья, в овчинном полушубке, босая, пробежала по улице вдогонку за поросенком.

Уже все давно ушли на хутор, когда они спустились с крыльца. Дарья вела за руку Вадьку, в другой руке несла плетеную корзинку. Позади Зойка тянула на веревке козу. Прошли всю улицу.

У крайнего дома по стене были выстроены конопляные снопы. Часовой у шлагбаума варил на костре картошку. Поравнявшись с ним, Дарья сказала:

— Все ушли, мы последние. Вы берегите тут наше добро.

— А вы наведывайтесь, — сказал часовой и пошел открывать им путь.

— Не надо, — крикнула Дарья и, пригнувшись, пролезла под шлагбаумом. — Мы придем картошку откапывать. Мы неподалеку тут.

Она зашагала быстрей, размахивая корзинкой. Потом глянула назад, остановилась, поджидая детей, а когда они подошли, спросила их:

— Кто приходил ночью?

Зойка покачала головой, сдерживая забежавшую козу, а Вадька поглядел на мать и сестру и ничего не понял.

— Спали, — сказала Дарья и снова пошла вперед.

«Привык так», — повторяла она себе. Ей представилось, как где-то в городе Михаил ездит на машине с молоденькой девушкой в берете. Он управляет машиной и рассказывает ей про свою жизнь в Зунькове.

Дарья почувствовала, как сдавило в груди, отогнала мысли и повторила вслух:

— Привык так.

Навстречу по дороге приближались густой колонной люди. Уже можно было различить их. Первым шел невысокий человек без шапки, в немецких сапогах с короткими широкими голенищами, с автоматом через плечо. Рядом с ним шагал молодой паренек, сбоку бежала куцая белая собачонка.

— Партизаны! — шепнула Дарья детям. — Из лесу выходят.

Над головами раскачивался на плечах товарищей грузный, большой человек.

«Несут. Раненый», — мелькнуло у Дарьи.

Белая собачонка выбежала вперед и тявкнула

на козу. Когда идущие впереди поравнялись с Дарьей, она с чувством поклонилась им, громко, взволнованно сказала: «Здрасте». Ей ответили молча, кивком головы. Усталые, торжественные, проходили они мимо.

Дарья отступила в замешательстве на обочину дороги.

На самодельных носилках на плечах товарищей полулежал, в немецких брюках и кителе, похожий с лица на Степана, тот самый человек, что зимой постучался в избу. Он не узнал Дарьи, а у нее кровь отхлынула от сердца. Мимо шли пестро одетые, вооруженные люди, проволокли пулемет. Напоследок позади всех прошли девушка с санитарной сумкой и пистолетом на ремне и молодая женщина с увернутым в серое одеяло грудным ребенком на руках. «Его ребенок», — мелькнуло у Дарьи.

С неунявшимся сердцем, часто оглядываясь, пошла она дальше. Спустились под холм. Пояс вымерзших яблонь. Дарья первая опустилась на землю. Впереди еще холм. За ним вставало солнце. Осень золотая. В кустах дрожала паутина выцветшего бабьего лета.

Дарья прилегла на локоть. Не тоской разлуки, не тревогой за будущее ныло в груди — по-другому. Отодвинулся Михаил, и вот он уже уходил куда-то далеко, становился маленьким.

Дарья представляла себе то, чего не было: темный лес и бой с немцами, партизан и себя с ними. Взволнованно цепенело сердце.

Пучок солнечных лучей застрял в кустах. Вот пробился один, ударил по босым ногам Дарьи, за ним второй, третий.

Закоченело тело на сухой сентябрьской земле. Дарья встала. Статная, увядание еще только-только тронуло ее с ног: сморщилась кожа у пальцев, натянулись темные жилки.

Она оглядела детей. Вадька набрал полный платок волчьих ягод. Низом по тропинке прошел кто-то. Вадька силился рассмотреть, но кусты мешали.

— Миша! — закричал он.

— Ты чего? — вздрогнула Дарья.

Вадька смутился, бухнулся на землю и рассыпал ягоды. Зойка сидела в сторонке возле кустов, побледневшая и смирная, как всегда после припадка. Рядом пощипывала траву привязанная коза.

Они тронулись дальше.

Над канавой у дороги сидели большая девочка с короткими светлыми косичками и двое мальчишек поменьше. Они перебирали грибы.

Справа показались люди, впереди шел красноармеец.

Девочка поспешно ссыпала грибы из подола юбки в лукошко и спрыгнула в канаву. Мальчишки прыгнули за ней. Вадька оглянулся на мать и тоже спрыгнул.

Впереди шел красноармеец, а за ним выравнивали шаг несколько парней в смешанной одежде.

Едва они прошли мимо, как девочка, отдуваясь от пыли, громко сказала:

— Зятьки. Пошли в армию служить. Пылища.

Мальчишки закивали головами, и все втроем они снова уселись спиной к дороге и принялись разбирать грибы.

СОДЕРЖАНИЕ

Ржевская Елена Моисеевна

БЕРЛИН, МАЙ 1945 г.

М., «Советский писатель», 1965 г., 276 стр.

Редактор В. Д. РАКОВСКАЯ
Худож. редактор В. В. МЕДВЕДЕВ
Техн. редактор М. А. УЛЬЯНОВА
Корректор В. Н. СТАХАНОВА

Сдано в набор 18/IX 1965 г. Подписано в печать 6/XI 1965 г. А 13122. Бумага $70 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. $8^5/_8$ (12,07). Уч.-изд. л. 10,05
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1559.
Цена 38 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Ленинградская типография № 5
Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати,
Красная ул., 1/3

38 коп.

0-30



